

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Любовь куклы



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Любовь куклы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22137129

Аннотация

«Пароходный повар Егорушка волновался. Он, вообще, считал себя ответственным лицом за порядок на пароходе „Брат Яков“, делавшим рейсы (по Егорушкину – бегавшим) по р. Камчужной, между уездным городом Бобыльском и пристанью Красный Куст. Ниже пристани начинались пороги, которые начальство старалось уничтожить в течение ста лет, собирало на это предприятие деньги, получало какие-то таинственные субсидии и отчисления из каких-то еще более таинственных „специальных средств“. На этих порогах воспитался целый ряд водяных и „каналских“ инженеров...»

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Любовь куклы

I

Пароходный повар Егорушка волновался. Он, вообще, считал себя ответственным лицом за порядок на пароходе «Брат Яков», делавшим рейсы (по Егорушкину – бегавшим) по р. Камчужной, между уездным городом Бобыльском и пристанью Красный Куст. Ниже пристани начинались пороги, которые начальство старалось уничтожить в течение ста лет, собирало на это предприятие деньги, получало какие-то таинственные субсидии и отчисления из каких-то еще более таинственных «специальных средств». На этих порогах воспитался целый ряд водяных и «канальских» инженеров. Самое дерзкое предприятие, совершенное этими неутомимыми тружениками, было то, что какой-то инженер Ефим Иванович взорвал порохом один порожный камень. Камчужские сторожилы и сейчас вспоминают об этом удивительном событии.

– И откуда *он* только взялся? – ворчал Егорушка, вытирая запачканные стряпней руки о свою белую поварскую куртку. – Когда выбежали из Красного Куста, его и в помяне не было... Надо полагать, ночью сел на пароход, когда грузи-

лись дровами у Машкина-Верха.

Егорушка морщил лоб и усиленно моргал своим единственным глазом, – другой глаз вытек и был прикрыт распухшим веком. Ему было за шестьдесят, но старик удивительно сохранился и даже не утратил николаевской солдатской выправки. Он точно застыл в вечном желании отдать честь или сделать на караул какому-то невидимому грозному начальству.

А «он» преспокойно разгуливал на палубе третьего класса, ставя ноги по военному. По походке и по заметной кривизне ног Егорушка сразу определил отставного кавалериста. Видно птицу по полету... И ростом вышел, и здоров из себя, и вся повадка настоящая господская, хотя одежонка и сборная, – старый дипломат, какая-то порыжелая, широкополая половская шляпа, штаны спрятаны в сапоги. Большие усы и запущенная, жесткая борода с легкой проседью тоже обличали военного. И красив был, надо полагать, а вот до какого положения дошел. Много и из господ таких-то бывает. Того гляди, еще медную кастрюлю из кухни сблагостит, и поминай, как звали. Последняя мысль пришла в голову Егорушки решительно без всякого основания, но тем не менее сильно его беспокоила.

– Наверно, лишенный столицы... – думал вслух Егорушка. – Другая публика, как следует быть публике, а этот какой-то вредный навязался...

Публика на пароходе, действительно, набралась обыкно-

венная. В первом классе ехал «председатель» Иван Павлыч в форменной дворянской фуражке с красным околышем, потом земский врач, два купца по лесной части, монах из Чуевского монастыря, красивый и упитанный, читавший, не отрывая глаз, маленькое евангелие, потом белокурая барышня, распустившая по щекам волосы, как болонка, и т. д. Из второго класса публика попроще: две сельских учительницы, о. дьякон из Бобыльска, ездивший на свадьбу к брату, мелочной торговец из Красного Куста, ветеринарный фельдшер и мелкотравчатые чиновники разных ведомств. Егорушке нужно было знать наперечет публику этих двух классов. А вдруг потребуют филейминьон или соус с трюфелями? Ступайка, угоди на одного Ивана Павлыча... Утробистый барин, одним словом.

Стояла половина поля. День выдался жаркий, а река стояла, как зеркало. Хоть-бы ветерком дунуло. А тут еще в кухне, как на том свете в аду. Егорушка в последнем был сам виноват, потому что нещадно палил хозяйские дрова с раннего утра. Да и кухня была маленькая, едва одному повернуться, и Егорушка выскакивал из неё, как ошпаренный. Впрочем, последнее объяснялось не одним действием накаленной плиты, а также и неосторожным обращением с монополькой. По поводу последней слабости Егорушка оправдывался тем, что николаевскому солдату полагается «примочка».

– У нас как полагалось по артикулу? – объяснял Егорушка, вытирая потное лицо рукой. – Девять человек заколоти, а

одного выучи... Каждый день вот такая битва шла, не приведи, Господи! Отдыхали-то на войне... Раэе нынешний солдат может что-нибудь понимать? Ну-ка, вытяни носок... ха-ха!..

Сегодня Егорушка особенно страдал от жары и на этом основании с особенным неистовством ракаливал свою плитку. Он вытаскивал жестяной чайник с кипятком на скамейку у водяного колеса и отдувался чаем. Ничего не помогало... Да и скучно как-то одному. В третьем классе ехал монашук из неважных, и Егорушка его пригласил.

– Не хочешь-ли, батя, чайку?

Монах имел необыкновенно кроткий вид. Высокий, сторбленный, с впалой грудью и длинными натруженными руками. Худое и длинное лицо чуть было тронато боролкой, из под послушнической скуфейки выбивались пряди прямых и серых, как лен, волос. Он ответил на приглашение Егорушки немного больной улыбкой, но подошел и занял место на скамеечке.

– В Чуевский монастырь ездил, батя? – допрашивал Егорушка, наливая стакан чая.

– Так... вообще... – уклончиво ответил послушник, поправляя расходившиеся полы заношенного подрясника.

– Я видел, как ты вперед ехал... А как звать?

– Павлин...

– Значит, брат Павлин. Так... Я сам хотел поступить в монахи, да терпенья не хватило. Вот табачишко курю, монопольку пью... А грехов – неочерпаемо!

Егорушка в отчаянии только махнул рукой...

– Господь милостив, ежели покаяться... – робко посоветовал брат Павлин, отхлебывая горячий чай. – Все от Господа.

– А ты из какого монастыря будешь?

– У нас не монастырь, а обитель Пресвятые Богородицы Нечаянные Радости.

– Это на Бобыльском?

– Недалече...

– И много братии?

– Так, человек десяти не наберется. Я-то еще на послушании... Всего как три года в обители.

– Строго у вас, как я слышал?

– Нет, ничего... Для себя стараемся.

За чаем Егорушка довольно хитро навел разговор на таинственного незнакомца, который шагал целое утро по палубе третьего класса.

– Он с тобой что-то разговаривал, брат Павлин?

– А так... расспрашивал об обителях... про нашего игумена...

– Так... гм... Ну, а потом?

– Потом ничего...

– А из каких он будет, по твоему?

– А кто его знает... Так, трезвый человек.

Брат Павлин просто был глуп, как определил его про себя Егорушка. Овца какая-то... Прямо вредный человек, а он

ничего не замечает. Эх, ты, простота обительская...

Эта сцена мирного чаепития была нарушена появлением самого вредного человека. Он подошел как-то незаметно и спросил глуховатым баском:

– Повар, можно у вас получить картофель?

Егорушка вскочил и отрапортовал:

– Сколько угодно-с... Картофель метер-дотель, картофель огратен, в сметане, о фин-зебр...

– Нет, просто горячий вареный картофель... – довольно сурово перебил его вредный человек.

– Значит, по просту вареная картошка?

– Вот именно...

– Этого никак невозможно, господин, а для буфетчика даже и обидно. Извините, у нас не обжорный ряд, чтобы на пятачок и картошка, и лук, и хлеб. У нас кушанья отпускаются по карточке. Ежели желаете, можно антрекот зажарить, сижка по польски приготовить... Другие господа весьма уважают филейминьён, баранье жиго... Можно соус бордолез подпустить, провансаль, ала Суцов...

– Хорошо, хорошо... А кашу можно получить?

– В каком смысле кашу-с, барин?

– Ну, например, гречневую, размазную, из проса?

– Тоже по карточке никак не выдет, господин. Вот ежели гурьевскую, с цукатом и миндалем, под сахарным колером с гвоздикой...

Вредный человек по военному круто повернулся на каб-

луках и зашагал к себе на палубу, а Егорушка подмигнул своими единственным оком брату Павлину и проговорил:

– Видел?

– Что-же, человек, как человек... Уважает простую пищу. Давеча утром чай пил с ситным...

– То да не то... расе он не понимает, что такое буфет на пароходе? Оченно хорошо понимает... А вот ежели медные кастрюли плохо лежат да повар ворон считает – ну, тогда и поминай, как звали.

– Вы это напрасно...

– Я?!.. Ого! Достаточно насмотрелись на тому подобных лишенных столицы... Скажите, пожалуйста, вареной картошки захотел и размазни?!.. Видалис и даже вполне таких фруктов и вполне можем их понимать-с. Картошка... размазня...

Егорушка серьезно рассердился и даже начал плевать.

II

«Он», по-видимому, ничего не подозревал и спросил себе прибор для чая. Третьеклассный официант в грязной ситцевой рубаше и засаленном пиджаке подал чайник с кипятком и грязный стакан. «Он» брезгливо поморщился, не торопясь, достал из узелка полотенце и привел стакан в надлежащий вид. Из свертка выпал при этом узенький желтоватый конверт, на котором тонким женским почерком было

написано: Михаилу Петровичу Половецкому. Он поднял его, пробежал лежавшее в нем письмо, разорвал и бросил в воду.

– Михаил Петрович Половецкий... – повторил он про себя свое имя и горько улыбнулся. – Нет больше Михаила Петровича...

Он мысленно еще раз перечитал строки брошенного женского письма, где каждая буква лгала... Да, ложь и ложь, бесконечная женская ложь, тонкая, как паутина, и, как паутина, льющая ко всему. А он так хорошо чувствовал себя именно потому, что ушел от этой лжи и переживал блаженное ощущение свободы, как больной, который встал с постели. Будет, довольно... Прошлое умерло.

– Да, хорошо... – подумал вслух Половецкий, глядя на убежавший берег реки. – Хорошо потому, что ничего не нужно.

Ни сама р. Камчужная, ни её берега никаких особенных красот не представляли, но Половецкому все теперь казалось в каком-то особенном освещении, точно он видел эту бледную красками и линиями русскую северную природу в первый раз. Да, он любовался красотами Капри, венецианских лагун, альпийских ледников, прибоем Атлантического океана, а своей родной природы не существовало. А ведь она чудно хороша, если хорошенько всмотреться, она – широкий масштаб, по которому выстроилась русская душа. Что может быть лучше этих бледных акварельных тонов северной зелени, этих мягких, ласкающих линий и контуров, это-

го бледно-голубого неба? О, как он отлично все это понимал и чувствовал, и любил именно сейчас... Ему делалось даже жаль ехавших в первом классе пассажиров, которые так равнодушно относились к окружающему их пейзажу.

Это созерцательное настроение было прервано громким хохотом Егорушки, который хлопал себя по ляжкам и раскачивался всем корпусом.

– Да не игумен-ли... а? – повторял он, задыхаясь. Брат Павлин сконфуженно улыбался.

Половецкий подошел к нам и спросил, в чем дело.

– Нет, пусть он сам расскажет... – отвечал солдат, продолжая хохотать. – Вот так игумен... Ловко!.. Ты, грит, с молитвой работай?!.. Ха-ха...

– Это они даже совсем напрасно, – объяснял смущенный брат Павлин. – Я им рассказал про обитель, а они смеются...

– Ну, ну, расскажи еще разок?

– У нас обитель небольшая, всей братии семь человек, а я, значит, восьмой, – заговорил брат Павлин уже без смущения. – И обител совсем особенная... совсем в болоте стоит, в водополы или осенью недель по шести ни пройти, ни проехать. Даже на лодках нет ходу...

– Зачем же в болото забрались, батя, точно комары?

– А это уж не от нас, а от божьего соизволения. Чудо было... Это когда царь Грозный казнил город Бобыльск. Сначала-то приехал милостивым, а потом и начал. Из Бобыльского монастыря велел снять колокол, привязал бобыльского

игумна бородой к колоколу и припечатал ее своей царской печатью, а потом колокол с припечатанным игумном и велел бросить в Камчужную.

– Ловко! Ох-хо-хо... – заливался солдат.

– Ну, и братию монашескую начал казнить немилостиво. Кому голову отрубит, кого в воду бросит. Из всего монашеского состава спасся один старец Мисаил. Он убежал в болото и три дня просидел в воде по горло. Искали, искали и никак не могли сыскать... Господь сохранил блаженного человека, а он в память о чуде и поставил обитель Нечаянные Радости. А царь Иван Грозный сделал в Бобыльскую обитель большой вклад на вечный помин своей царской души.

– Ты, батя, про игумена-то своего расскажи, – перебил Егорушка. – Ведь тоже Мисаилом звать...

– Что-же, игумен у нас хороший, строгий и милостивый, спокойно ответил брат Павлин. – Раньше-то я хаживал в обитель по сапожному делу, ну, а летом помогал сено косить, дрова рубить... Очень мне нравилось тихое монашеское житие. Место глухое, перед обителью озеро... Когда идет служба, так по озеру-то далеко несется дивное монашеское пение. Даже слеза прошибает... Так-то я лет пять ходил в обитель, а потом о. игумен и говорит: «Павлин, оставайся у нас... Будешь в миру жить – осквернишься». Я по первоначальному испугался, потому как монашеское послушание строгое. Боялся не выдержать... Однако, о. игумен по доброте своей уговорил меня. Только и всего.

– А послушание-то? – допытывал Егорушка.

– Какое же послушание; делаю то же самое, что и раньше.

– Вот, вот... Только даром работаешь на всю обитель, а братия спит. Ха-ха... Ловко приспособил игумен дарового работничка.

Обратившись к Половецкому, Егорушка добавил:

– Да еще что делают с ним: не дают отдыха и в праздники.

В церковь даже летом некогда сходить... «Работа на обитель, грит игумен-то, паче молитвы»! Павлин-то и трубит за всю братию...

– Надо послушание до конца пройти, – кротко объяснял брат Павлид.

– А потом-то?

– А потом приму окончательный постриг, ежели Господь сподобит.

Голубиная кротость брата Павлина очень понравилась Половецкому, и даже его некрасивое лицо казалось ему теперь красивым. Когда Егорушка с какой-то оторопью бросился к себе в кухню жарить антрекот для Ивана Павлыча, Половецкий разговорился с братом Павлином и узнал удивительные новости. Разговор зашел о городе Бобыльске, история которого являлась чем-то загадочным и удивительным. Он поставлен был на границе новгородской пятины и московского рубежа. На этом основании его постоянно зорили московские воеводы, а когда он попадал в московский полон – зорили и грабили сами новгородцы. Кроме того, при-

ложила свою руку Литва немилостивая, и даже татары.

– Татары не доходили до Бобыльска, – объяснял Половецкий, припоминая историю.

– Сами-то они не приходили, а высылали стрелу... Значит, баскак наедет и заставляет выкупать стрелу. Много Бобыльских денежек набрала орда в разное время...

– Откуда вы все это знаете?

– Летописцы были и все записали. Первый-то был тот самый игумен, которого Иван Грозный с колоколом утопил. Ионой Шелудяком назывался. У него про татарскую стрелу и было записано. Потом был летописец, тоже игумен, Иакинф Болящий. Он про Грозного описал... А после Грозного в Бобыльске объявился самозванец Якуня и за свое предрезостное воровство был повешен жалостливым образом.

– Как это жалостливым образом?

– А не знаю... Я ведь не грамотный, да и летописи все пригорели. У нас в обители живет о. келарь, древний старичок, так он все знает и рассказывает.

– Были и еще летописцы?

– Был один, уж последний – Пафнутий Хроменький. Ну, этот так себе был... Все о Петре Великом писал, как он наезжал в Бобыльск и весьма угнетал народ своим стремлением. Легко сказать, хотел оборотить Камчужную в канал, чтобы из Питера можно было проехать водой вплоть до Киева. Однако Господь отнес царскую беду... Ну, тогда царь Петр поступил наоборот. Полюбилась ему заповедная липовая ро-

ща под Бобыльском, которую развели монахи. Ну, он и велел всю рощу целиком перевезти к себе в Питер... Вот было горе, вот была битва, когда тыщи три дерев нужно было тащить по болотам верст триста. Сколько народу погибло, сколько лошадей – и не пересчитать. А царь Петр приехал в Бобыльск, поблагодарил жителей и на память посадил на месте липовой рощи жолудь. Теперь вот какой царский дуб растет... Царь Петр ездил по всему царству и всегда возил в кармане желуди. Если город ему понравится, он сейчас и посадит желудь, чтобы помнили его. Ну, а после царя Петра уж никакой истории не было, кроме пожаров да холерных годов.

Брат Павлин с трогательной наивностью перепутывал исторические события, лица и отдельные факты, так что Половецкому даже не хотелось его разубеждать. Ведь наивность – проявление нетронутой силы, а именно такой силой являлся брат Павлин. Все у него выходило как-то необыкновенно просто. И обитель, и о. игумен, и удивительная история города Бобыльска, и собственная жизнь – все в одном масштабе, и от всего веяло тем особенным теплом, какое дает только одна русская печка.

– А знаете, господин... – заговорил брат Павлин после некоторой паузы. – Извините, не умею вас назвать...

– Называйте просто: брат Михаил...

Будущий инок посмотрел на Половецкого недоверчивым взглядом и улыбнулся.

– Да, просто брат Михаил, – повторил Половецкий и тоже

улыбнулся.

Странно, что улыбка как-то не шла к его немного суровому лицу. Вернее сказать, она придавала ему какое-то чуждое, несвойственное всему складу выражение.

– А я хотел сказать... (Брат Павлин замялся, не решаясь назвать Половецкого братом Михаилом). Видите-ли, у нас в обители есть брат Ираклий... Большого ума человек, но строптивец. Вот он меня и смутил... Придется о. игумну каяться. Обманул я его, как неверный раб...

– Как-же вы его обманули?

– Ох, случился такой грех... Брат Ираклий все подзуживал. И то не так у нас в обители, и это не так, и о. игумен строжит по напрасну, и на счет пищи... и все хвалит Чуевскую обитель. Уж там все лучше... И смутил меня. Я и сказал, что у меня дядя помирает, а дяди-то и не бывало. Разве это хорошо? Ираклий-же и научил... Ну, о. игумен отпустил меня, благословил на дорогу... Ах, как это совестно вышло все!.. Вот я и поехал в Чуевскую обитель, прожил там три дня и даже заплакал... Лучше нашей обители нет, а только строптивость брата Ираклия меня ввела в обман.

– Ну, это грех не велик. Всякий человек ищет, где лучше...

– Грех-то не велик, а велика совесть.

Ш

Ночь. Река точно застыла, и только оставляемые пароходом гряды волн тяжело бьются в глинистые берега. Темное июльское небо точно усажено звездами, бледными, трепещущими в воде, не оставляющими после себя следа и вечно живыми. Как ничтожен человек, когда он смотрит на небо... Ведь от ближайшей звезды свет приходит только через восемь лет, и небо, в его настоящем виде, только блестящая ложь. И эти миры миров смотрят на нас светлыми глазами, и мы никогда не постигнем их тайны. Половецкий долго смотрел на реку и на небо и переживал такое ощущение, как будто он поднимается кверху, как бывает только в молодых снах.

— Господи, ведь каждый день — чудо, — думал он. — И минута каждая — чудо... Каждый листочек на дереве — чудо, и травка, и козявка, и капля воды. Непрерывающееся вечное чудо, которое окружает нас, а еще большее чудо — внутри нас. Бездна бездну призывающая...

Он долго стоял над люком, в который можно было рассмотреть работавшую пароходную машину. И пароход был скверный, старой конструкции, и машина дрянная, но в работе последней чувствовалась все-таки могучая сила. Ведь работала не машина, т. е. известная комбинация стальных, железных и медных частей, и не вода, превращенная в пар, а вечно живая человеческая мысль. Машинным отделением

пароход делился на две половины – носовая часть для серой публики, а корма для привилегированной. Всего удивительнее было на этом утлом суденышке, как, впрочем, и на лучших волжских пароходах, распределение грязи, доведенное чуть не до математической точности, так что если бы разница в цене билета составляла всего одну копейку, то и грязи получилось бы в одном классе на копейку больше, а в другом меньше. Кажется в этой системе распределения грязи заключается единственная аккуратность русского человека.

Эта грязь коробила Половецкого, когда приходилось вечером пить чай за грязным столиком и укладываться потом спать на грязной пароходной скамейке. Брат Павлин поместился напротив и наблюдал за Половецким улыбающимися глазами. Он понял, что барину претит непролазная пароходная грязь.

– Серый народ едет... – объяснял он, точно стараясь оправдаться. – Привыкли к грязи сызмала.

– Да, но все-таки... Мне кажется, что можно бы обойтись и без грязи. Это ведь совсем нетрудно. Например, вымыть вот этот столик, нашему официанту вымыть руки, повару не вытирать грязных рук о свою куртку.

– Да, оно конечно... Только уж привычка... У нас крестьяне даже избу не метут, чтобы теплее было.

– А в обители у вас чисто?

– Даже весьма строго по этой части...

Половецкий и брат Павлин уже улеглись спать, как нежи-

данно явился повар Егорушка. В одной руке он нес жестяную лампочку, а в другой чайник с горячей водой.

– Батя, погоди спать... Давай, чайку попьем. Ух, умаял же меня сегодня Иван Павлыч! Прямо без ног меня сделал... За каждым соусом меня раз по пяти гонял. А я унесу соус-то, постою с ним за дверью и назад «Ну вот теперь хорошо», хвалит Иван Павлыч. Ха-ха... Страшный привередник.

– А как его фамилия? – спросил Половецкий.

– Ну, этого уж не знаю, господин... Мы его председателем зовем.

– Где же он преседательствует?

– А кто его знает... Просто председатель города Бобыльска.

Егорушка был заметно навеселе, хотя и держался на ногах твердо. Он несколько раз хлопал брата Павлина по спине, беспричинно хихикал и, вообще, находился в хорошем расположении духа.

– Вы какой губернии-то, батя? – спрашивал он. – Да, из Ярославской... так... Всем бы хороши ваши ярославцы, да только грибов боятся... х-ха! Ярославец грибы не будет есть, потому как через гриб полк шагал... Тоже вот телятины не уважают... потому как теленок выходит по ихнему незаконорожденный... Мы, значит, костромские, дразним их этим самым. Барин, чайку с нами? – предлагал он Половецкому.

– Нет, спасибо, я уже пил...

Неугомонный солдат продолжал болтать, поддразнивая

брата Павлина.

– Хороша ваша обитель, батя, правильная, а только одно не хорошо... Зачем у вас девка была игуменом? Положим, не простая девка, а княжиха, ну, а все-таки как будто не ладно...

– Это не у нас, а в женской Зачатиевской обители действительно был такой случай. Там игуменьей лет тридцать состояла княжиха... Она прямо с балу приехала в монастырь, как была, во всей бальной одеже. Ее на балу жених обидел, ну, она не стерпела и сейчас в монастырь. Ндравная, сказывают, была, строгая. Померши уж теперь лет с десять...

– А за помин души графа Евтихия Ларивоныча молитесь?

– Молимся... От него у нас вклад на вечные времена.

– Больше молитесь, батя. Много на ем наших солдатских грехов... Ох, трещала солдатская спинушка!..

– Давно это было... Еще при Александре Благословенном.

– Давно-то оно давно, а память осталась. Вон на берегу, сейчас за мысом его хоромины стоят... И солдаты только были. Тридцать пять лет выслуга, а верстали мужиков сорока лет иногда... До смерти солдат. Я пятнадцать годов отбыл. Поляка замирял...

– Страшно на войне? – полюбопытствовал брат Павлин.

– Это только думать страшно, а там и бояться некогда. Ты палишь, в тебя палят... х-ха!

– И... и вы убивали человека? – робко спросил брат Павлин, с трудом выговаривая роковое слово.

– И даже очень просто... Отечество, первое дело, а потом начальство. Так, ежели сосчитать, душ пять порешил...

– И... и вам не страшно, т. е. тогда, когда вы...

– Чего бояться-то? Мы, напримерно, их на острове устигли, польшу эту самую. Человек с четыреста набралось конницы, а нас лазутчик провел... Ночь, дождь – ну, ни одного не осталось живого. В темноте-то где разбирать, убил или не убил... Меня по голове здорово палашом хлопнули, два месяца в больнице вылежал.

Лицо Егорушки оставалось добродушным, точно он рассказывал самую обыкновенную вещь. Именно это добродушие и покорило Половецкого, напомнив ему целый ряд сцен и эпизодов из последней турецкой войны, в которой он принимал участие. Да, он видел все ужасы войны и тоже был ранен, как Егорушка, но не мог вспомнить о всем пережитом с его равнодушием.

– Главное, неприятель... – объяснял Егорушка. – Он, ведь, меня не жалеет, ну, и я его не жалею...

– Все-таки живой человек, и вдруг...

– Ну, про это начальство знает. Известно, все люди-человеки. У нас свое начальство, у них – свое... А там уж Господь разберет, кто и чего стоил.

– Бог один у всех... – тоскливо заметил брат Павлин.

– А как же сказано: христолюбивое воинство? Бог-то один, а вера, значит, разная... Вот и вы молитесь по своим обителям об одолении супостата. И даже очень просто... Мы

воюем, а вы за наши грехи Богу молитесь...

Егорушка долго еще что-то рассказывал, но Половецкий уже дремал, не слушая его болтовни. В ночной тиши с особенной резкостью выдавались и глухая работа машины, и шум воды. Тянулась смешанная струя звуков, и, прислушиваясь к удушливым хрипам паровой машины, Половецкий совершенно ясно слышал картавый, молодой женский голос, который без конца повторял одну и ту же фразу:

...А хр-рам оставленный – все хр-рам.

Кумир-р поверженный – все Бог.

– Нет, не правда!.. – хотелось крикнуть Половецкому.

Разве вода может говорить? Машина при всей её подавляющей физической силе не может выдавить из себя ни одного слова... А слова повторялись, он их слышал совершенно ясно и даже мог различить интонации в произношении. Он в каком-то ужасе сел на своей скамейке и удивился, что кругом никого не было, а против него мирно спал брат Павлин. Половецкий вздохнул свободно.

– Милый брат... – подумал он, прислушиваясь к ровному дыханию будущего инок.

Начинало светать. Все кругом спали. Шум паровой машины разносился далеко по реке. На луговом берегу Камчужной бродил волокнистый туман. Половецкий долго ходил по палубе. Спать не хотелось. Он в последнее время, во-

обще, спал плохо, а сегодня просто задремал и проснулся от слуховой галлюцинации, которая, как молния, осветила все прошлое. Боже мой, как он жил, если бы можно было рассказать... И разве это был он? Какое-то полуживотное состояние, затемнение сознания, полная разнузданность дурных инстинктов, отсутствие задерживающих нравственных основ. День шел за днем, как звенья роковой цепи. Не являлось даже мысли о том, что необходимо проверить себя, подвести итог, просто подумать о другой жизни. И крутом все другие жили так-же, т. е. люди известного обеспеченного круга. У всех порядок жизни и логика были одинаковы. Сытая тоска, мучительная погоня за удовольствиями, пресыщение, апатия и недовольство жизнью. Мужчины искали развлечения на стороне, женщины – тоже. Это были два вечно враждовавших лагеря, и семейная жизнь держалась только приличиями. Да и какая могла быть семейная жизнь при таких условиях... Прибавьте к этому дешевенький скептицизм, презрение к остальным людям, которые не могут так жить и в лучшем случае – общественная деятельность на подкладке личного самолюбия. А главное, никакой серьезной работы и серьезных интересов в жизни...

– И это был я... – повторил Половецкий в каком-то ужасе.

Смысл и цель жизни были затемнены, красота окружающего проходила незаметной. А сколько можно было сделать хорошего, доброго, честного, любящего...

– Папа, а как другие живут? – спрашивал его детский го-

лос.

– Каждый живет по своему, – уклончиво отвечал он, потому что нечего было отвечать.

Он лгал перед ребенком и не сознавал этого. Нужно было ответить так:

– Твой папа, милая девочка, дрянной человек и не знает, как живут другие, т. е. большинство, потому что думает только о себе и своей легкой жизни.

Ах, как мучил его временами этот детский голос... И он его больше не услышит на яву, а только во сне. Половецкого охватила смертная тоска, и он едва сдерживал накипавшие в груди слезы.

Убедившись, что все кругом спят, Половецкий торопливо развернул котомку, завернутую в клеенку, вынул из неё большую куклу и поцеловал запачканное личико со слезами на глазах.

– Милая... милая... – шептал он, прижимая куклу к груди.

IV

Утром пароход долго простоял у пристани Гребешки. Сначала грузили дрова, а потом ждали какую-то важную чиновную особу. Брат Павлин начал волноваться. «Брат Яков» придет в Бобыльск с большим опозданием, к самому вечеру и придется заночевать в городе, а всех капиталов у будущего

инока оставалось четыре копейки.

– Задаст тебе жару и пару игумен, – поддразнивал повар Егорушка.

– Это ничего... По делом вору и мука. А лиха беда в том, что работа стоит. Какое сейчас время-то? Страда стоит, а я целую неделю без всякого дела прогулял.

– В том роде, как барыня... Ах, ты, горе луковое!..

Егорушка продолжал все время следить за Половецким, даже ночью, когда тот бродил по палубе.

– Ох, не прост человек... – соображал Егорушка. – Его и сон не берет... Сейчас видно, у кого что на уме. Вон председатель, как только проснулся и сейчас подавай ему антрекот... Потом приговаривался к пирожкам... А этот бродит, как неприкаянная душа.

За время стоянки набралась новая публика, особенно наполнился третий класс. Чувствовалась уже близость Бобыльска, как центра. Ехали поставщики телятины, скупщики яиц, сенные подрядчики и т. д. Между прочим, сели два солидных мужичка и начали ссориться, очевидно продолжая заведенный еще в деревне разговор.

– Дураки мы, и больше ничего, – повторял рыжебородый мужик в рваной шапке. – Прямо от своей глупости дураки...

Его спутник, оборванный, сгорбленный мужичок, с бородкой клинушкой угнетенно молчал. Изредка он подергивал левым плечом и слезливо моргал подслеповатыми глазами.

– Да, дураки, – повторял рыжий. – Сколько берлогов мы оказали барину Половецкому? На, получай сотельный билет... Помнишь, как он ухлопал медведицу в восемнадцать пудов? А нынче цена вышла-бы по четвертному билету за пуд... Сосчитай-ка... восемнадцать четвертных... двести пятьдесят да двести – четыреста пятьдесят и выйдет. А мы-то за сотельный билет просолили медведицу...

Половецкий даже покраснел, слушая этот разговор. Мужички – медвежатники, обкладывавшие медвежьи берлоги, конечно, сейчас не узнали-бы его, хотя и говорили именно о нем. Ах, как давно все это было... Да, он убил медведицу и был счастлив этим подвигом, потому что до известной степени рисковал собственной жизнью. А к чему он это делал? Сейчас он решительно не мог бы ответить.

Рыжий медвежатник только делал вид, что не узнал Половецкого, и с расчетом назвал его фамилию. Ишь, как перерядился, точно собрался куда-нибудь на богомолье. Когда пароход, наконец, отвалил, он подошел к Егорушке и спросил:

– А давно вон тот барин едет?

– А ты его знаешь? – обрадовался Егорушка.

– Случалось... На медведя вместе хаживали. Михайлой Петровичем звать. Ловкий, удалый барин... Он тогда служил офицером, жена красавица, все было по богатому.

– Так, так... А я то и ни весть чего надумался о нем. Сел он прошлой ночью за Красным Кустом. Так-с... Ах, ты грех какой вышел...

– У него большеущее имение в Тверской губернии, да у жены два в нашей Новгородской. Одним словом, жили светленько...

– Проигрался в карты – вот и все, – решил Егорушка, махнув рукой. А я то, дуралей, всю ночь караулил... Думаю, сблаговестит он у меня кастрюли.

– Куда бы ему, кажется, ехать, – соображал мужичок, подергивая бородку. – И с котомкой едет... Не проста дело.

Егорушка только крутил головой. Нынче мудреные и господа пошли, не то, что прежде. Один председатель из настоящих господ и остался.

Половецкий видел особу, из-за которой пароход простоял на пристани целых пять часов. Это был брюзглий, прежде времени состарившийся господин в штатском костюме. Он шел с какой-то особой важностью. Его провожали несколько полицейских чинов и какие-то чиновники не из важных. Вглядевшись в этого господина, Половецкий узнал своего бывшего приятеля по корпусу. Боже мой, как он изменился и постарел за последние года, когда бросил Петербург и посвятил себя провинциальной службе. По жене Половецкий приходился ему дальним родственником. Перед отъездом из Петербурга Половецкий прочел в газетах о назначении Палтусова на выдающийся пост, но не знал, которого из братьев. «Председатель» Иван Павлыч так и вытянулся пред особой, но Палтусов едва отдал ему поклон. Это было олицетворение чиновничьего тщеславия.

– «Ведь и я мог быть таким же», – с улыбкой подумал Половецкий, припоминая по ассоциации идей целый ряд пристроившихся по теплым местам товарищей.

Ему почему-то сделалось даже жаль этого важничавшего господина. Сколько тут лжи, а главное – человек из всех сил старается показать себя совсем не тем, что он есть на самом деле. Все это видят и знают и стараются пресмыкаться.

Быть самим собой – разве это не величайшее счастье? О, как он доволен был теперешним своим настроением, той согревающей душевной полнотой, о которой еще недавно он не имел даже приблизительного представления.

И все кругом было так тесно связано между собой, представляя собой одно целое. Вот и повар Егорушка с его красным носом близок ему, и мужички медвежатники, и брат Павлин. Здесь все так просто и ясно... Кстати, Егорушка несколько раз подходил к нему и как-то подобострастно и заискивающе спрашивал:

– Не прикажете-ли чего-нибудь, ваше благородие?

– Почему ты думаешь, что я благородие?

– Помилуйте, сразу видно... В кирасирском полку изволили служить?

– В кавалерии...

– Так-с. Лучше военной службы ничего нет. Благородная службас... У всякого свой гонор-с.

Егорушка уже успел сообщить брату Павлину все, что выспросил у медвежатника про Половецкого, но брат Павлин

даже не удивился.

– У нас в обители жил один барин в этом роде, – кратко объяснял он. – Настоящий барин. Даже хотел монашество принять, но игумен его отговорил. Не господское это дело... Послушание велико, не выдеряш. Тяжело ведь с гордостью-то расставаться... Ниже всех надо себя чувствовать.

– Да, трудновато... – согласился Егорушка. – Вот хоть до меня коснись – горд я и никому не уступлю. Игумен бы мне слово, а я ему десять.

Половецкий заказал чай и пригласил брата Павлина, который счел долгом отказаться несколько раз.

– Мне скучно одному, – объяснил Половецкий.

За чаем он подробно расспрашивал брата Павлина о всех порядках обительской жизни, о братии, игумене и о всем обительском укладе.

– У нас обитель бедная, и все на крестьянскую руку, – объяснял брат Павлин. – И сам игумен из крестьян... Один брат Ираклий из духовного звания. Ну, и паства вся тоже крестьянская и работа...

– А посторонние бывают?

– Конечно, наезжают. Купчиха одна живет по целым неделям. О муже покойном все убивается... Страсть тоскует. А, ведь, это грешно, т. е. отчаяние, когда человек возлюбит тварь паче Бога. Он хоть и муж ей был, а все таки тварь. Это ей игумен объяснял при всей братии. Он умеет у нас говорить. До слез доводит... Только с одним братом Ираклием

ничего не может поделывать. Строптивец и постоянно доносы пишет... И про купчиху архиерею жаловался, и меня тут же приплек... А я его все-таки люблю, когда у него бывает просветление души.

– А новых братьев принимают в обитель? – спросил Половецкий.

– А этого я уж не могу знать. Все зависит у нас от игумена... Так приезжают и живут. Только больше месяца оставаться игумен не позволяет.

Когда вечером пароход подходил уже к Бобыльску, Половецкий спросил брата Павлина:

– А если я приду к вам в обитель, меня примут?

– Даже очень хорошо примут... Игумен будет рад.

– Вы будете ночевать в городе?

– Придется... Одному-то ночью как-то неудобно идти.

– Пойдемте вместе.

Брат Павлин недоверчиво посмотрел на Половецкого и кротко согласился.

Когда Половецкий выходил с парохода, на сходнях его догнал повар Егорушка и, задыхаясь, проговорил:

– А, ведь, Павел-то Митрич, г. Половецкий, померши... Ах, что только и будет!..

– Какой Павел Митрич?

– А Присыпкин... Какой человек-то был!..

– Какой человек?

– А наш, значит, природный исправник... Семнадцать лет

выслужил. Отец родной был...

– А как вы узнали моего фамилию?

– Помилуйте, кто-же вас не знает... Мужички медвежатники все обсказали. Да... Ах, Павел Митрич, Павел Митрич...

Половецкому было очень неприятно, что его фамилия была открыта. Егорушка страдал старческой болтливостью и, наверно, расскажет всему пароходу.

– Егорушка, вы молчите, что видели меня, – просил он.

– Помилуйте, барин, да из меня слова-то топором не вырубись... Так, с языка сорвалось. Ах, Павел Митрич...

В подтверждение своих слов Егорушка бросился на пароход, розыскал «председателя» Ивана Павлыча и рассказал ему все о Половецком, с необходимыми прибавлениями:

– В обитель они пошли с братом Павлином... Надо полагать, пострижение хотят принять.

– Половецкий... да, Половецкий... гм... – тянул из себя слова Иван Павлыч. – Фамилия известная... А как его зовут?

– А вот имя-то я и забыл... Михайлой...

– Михаил Петрович?

– Вот, вот... В кирасирах служили, а сейчас с котомочкой изволят идти на манер странника... А Павел то Митрич?

– Да, приказал долго жить...

– Какой человек был, какой человек...

– Да, порядочный негодяй, – отрезал Иван Павлыч, ковыряя в зубах.

Егорушка даже отступил в ужасе, точно «председатель» в него выстрелил, а потом проговорил:

– Действительно, оно того... да... Можно сказать, даже совсем вредный был человек, не тем будь помянут.

Половецкий и брат Павлин остановились переночевать в Бобыльске на постоялом дворе. И здесь все было наполнено тенью Павла Митрича Присыпкина. Со всех сторон сыпались всевозможные воспоминания, пересуды и соображения.

– И что только будет... – повторял рыжебородый дворник, как повар Егорушка.

Проезжого нарола набралось много, и негде было яблоку упасть. Брат Павлин устроил место Половецкому на лавке, а сам улегся на полу.

– Вам это непривычно по полу валяться, а мы – люди привычные, – объяснял он, подмащивая в головы свою дорожную котомку. – Что-то у нас теперь в обители делается... Ужо завтра мы утречком пораньше двинемся, чтобы по холодку пройти. Как раз к ранней обедне поспеем...

Половецкий почти не спал опять целую ночь. В избе было душно. А тут еще дверь постоянно отворялась. Входили и выходили приезжие. На дворе кто-то ругался. Ржали лошади, просившие пить. Все это для Половецкого было новым, неизвестным, и он чувствовал себя таким лишним и чужим, как выдернутый зуб. Тут кипели свои интересы, которых он в качестве барина не понимал. На него никто не

обращал внимания. Лежа с открытыми глазами, Половецкий старался представить себе будущую обитель, сурового игумена, строптивца Ираклия, весь уклад строгой обительской жизни. Он точно прислушивался к самому себе и проверял менявшееся настроение. Это был своего рода пульс, с своими повышениями и понижениями. И опять выплывала застарелая тоска, точно с ним рядом сидел его двойник, от которого он не мог избавиться, как нельзя избавиться от собственной тени.

Половецкий не знал, спал он или нет, когда брат Павлин поднялся утром и начал торопливо собираться в дорогу.

– Ох, не опоздать-бы к обедне... – думал он вслух. – Брат Ираклий вот какое послушание задаст...

– Ведь он не игумен, – заметил Половецкий.

– Он и игумну спуску не дает... Особенный человек. Так смотреть, так злее его нет и человека на свете. А он добрый. Чуть что и заплачет. Когда меня провожал – прослезился... А что я ему? Простец, прямо человек от пня...

Не смотря на раннее утро, город уже начинал просыпаться. Юркое мещанство уже шныряло по улицам, выскивая свой дневной труд. Брат Павлин показал царский дуб и мост, с которого Иван Грозный бросал бобыльцев в реку.

– Несчетное множество народу погубил, – объяснял он со вздохом. – Года с три город совсем пустой стоял, а потом опять заселился.

Миновав грязное даже в жаркую пору предместье, они по-

шли по пыльному, избитому тракту. Кругом не было видно ни одного деревца. Сказывался русский человек, который истребляет лес до последнего кустика. Тощий выгон, на котором паслись тощие городские коровенки, кое-где тощие пашни. Брат Павлин шагал какой-то шмыгающей походкой, сторбившись и размахивая длинными руками. Он теперь казался Половецкому совсем другим человеком, чем на пароходе, как кажутся в поле или в лесу совсем другими лошади и собаки, которых глаз привык видеть в их домашней обстановке.

– А вот и наша монастырская поворотка, – радостно проговорил брат Павлин, когда от тракта отделилась узенькая проселочная дорожка. – Половину дороги прошли...

Впереди виднелся тощий болотный лесок с чахлыми березками, елочками и вербами. Почва заметно понижалась. Чувствовалась близость болота. Луговая трава сменилась жесткой осокой. Пейзаж был незавидный, но он нравился Половецкому, отвечая его настроению. Деревья казались ему живыми. Ведь никакое искусство не может создать вот такую чахлую березку, бесконечно красивую даже в своем убожестве. В ней чувствовалось что-то страдающее, неудовлетворенное... Тощая почва, как грудь голодной матери, не давала питания. Ведь у такой голодной березки есть своя физиономия, и она смотрит на вас каждым своим бледным листочком, тянется к вам своими исхудалыми, замороженными веточками и тихо жалуется, когда ее всколыхнет шальной

ветерок. И сколько в этом родного, сколько родной русской тоски... А бледные, безымянные цветики, которые пробивались из жесткой болотной травы, как заморенные дети... Ведь и в душе человека растет такая жесткая трава, с той разницей, что в природе все справедливо, до последней, самой ничтожной былинки, а человек несет в своей душе неправду.

Чахлый лесок скоро сменился болотными зарослями. Дорожка виляла по сухим местам, перебежала по деревянным мостикам и вела вглубь разраставшегося болота.

– Слава Богу! – проговорил брат Павлин, откладывая широкий кресть.

– Что такое?

– А звонят к заутрени...

Половецкому нужно было остановиться, чтобы расслышать тонкий певучий звук монастырского колокола, протянувшийся над этим болотом. Это был медный голос, который звал к себе... Половецкий тоже перекрестился, не отдавая себе отчета в этом движении.

– Радость-то, радость-то какая... – шептал брат Павлин, ускоряя шаг. – Это брат Герасим звонит. Он у нас один это понимает. Кажется, чего проще ударить в колокол, а выходит то, да не то... Брат Герасим не совсем в уме, а звонить никто лучше его не умеет.

Они прошли болотом версты четыре, пока из-за лесного островка блеснул крест монастырской колокольни. Брат Павлин начал торопливо креститься, а Половецкий почув-

ствовал, как у него сердце точно сжалось. Возвращающийся из далекого, многолетнего странствования путешественник, вероятно, испытывает то же самое, когда увидит кровлю родного дома.

– Скоро будем и дома... – ответил на его тайную мысль брат Павлин.

В дороге люди настолько сближаются, что начинают понимать друг друга без слов.

Брат Павлин прибавил шагу и несколько раз оборачивался, глядя на Половецкого улыбающимися глазами, как будто желал его ободрить.

Обитель точно утонула в болоте. Дорога колесила, пробираясь сухими местами. Перекинутые временные мостики показывали черту весеннего половодья. Неудобнее места трудно было себе представить, но какая-то таинственная сила чувствовалась именно здесь. Есть обители нарядные, показательные, которые красуются на видных местах, а тут сплошное болото освещалось тихим голосом монастырского колокола, призывавшим к жизни.

– Хорошо... – ответил брат Павлин на тайную мысль Половецкого. – Лучше места нет... Отишие у нас. Очень уж я возлюбил нашу тишину... Душа радуется к молитве.

Самая обитель показалась как-то сразу. Старинная белая церковь занимала центр, а вокруг неё жались в живописном беспорядке нисенькие каменные и бревенчатые пристройки. Была и монастырская стена с узенькими оконцами, обрешет-

ченными железными прутьями. Виднелась немного в стороне другая церковка, нисенькая, с плоской крышей, тонкими главами и стоявшей отдельно колокольной. Хозяйственные постройки помещались за монастырской оградой, образуя отдельный двор. Из-за монастыря, через редкую сетку сосен и елей, блестело озеро. Чем-то тихим и забытым веяло от этой обители, и Половецкий облегченно вздохнул. У открытых монастырских ворот стояла крестьянская телега, в которой лежала какая-то исхудалая баба с лихорадочно горевшими глазами.

– Одержимая... – объяснил брат Павлин. – У нас много таких бывает, которые ищут благодати.

– «Ведь и я тоже одержимый»... – невольно подумал Половецкий. – «И тоже пришел искать благодати»...

VI

Они вошли в ворота на поросший травой монастырский двор. Из открытых дверей маленькой церковки доносилось пение. Кончалась заутреня. Брат Павлин как-то весь съежился и показался Половецкому ниже ростом.

– А вон и брат Иракий... – как-то пугливо проговорил он, указывая глазами на стоявшего у келарни худенького монаха в черной островерхой скуфейке.

Он, видимо, все свое внимание сосредоточил на Половецком, и смотрел на него злыми черными глазками, глубоко

засевшими в своих орбитах. Узенькое, худое, нервное лицо чуть было тронута жиденькой рыжеватой бобородкой и такими же усами. Контрастом на этом лице являлись толстые чувственные губы. Брат Павлин подошел к нему, но встретил довольно сухой прием.

– Нашатался? – коротко спросил брат Ираклий.

– Да, Господь сподобил...

– А это еще какого сахара привел?

– Так, на пароходе познакомился... Они хотят у нас в обители пожить.

Брат Ираклий издал неопределенный звук и сам подошел к Половецкому.

– Паспорт имеете? – спросил он каким-то неприятным голосом, глядя в упор.

– Имею, – ответил спокойно Половецкий, рассматривая брата Ираклия с ног до головы.

Брату Ираклию не понравился тон ответа и бесцеремонное оглядывание. Он круто повернулся, сделал несколько шагов и вернулся.

– Вы, может быть, из корреспондентов?

– Нет...

– Бывают и такие...

– Да, бывают...

– А что у вас в котомке?

– Это уж мое дело...

Брат Павлин с какой-то печальной улыбкой наблюдал эту

сцену и, когда брат Ираклий ушел, проговорил:

– Вот он всегда у нас так... Ни за что обидеть человека.

– Нет, меня он не обидел пока ничем.

– Еще успеет обидеть... Вы меня подождите здесь, а я пойду поищу о. келаря, чтобы насчет странноприимницы. Вон она...

Он указал на нисенький деревянный флигелечек, выходящий окнами в небольшой садик, пестревший цветами. Видимо, что его устраивала любящая и опытная рука. Брат Павлин скоро вернулся в сопровождении нисенького, коренастого монаха, который молча поклонился и молча повел в странноприимницу. Это был очень уютный домик, где пахло еще деревом и свежей краской. О. келарь молча отворил одну дверь и молча пригласил Половецкого войти.

– Нет, эта комната не годится, – раздался за спиной Половецкого голос брата Ираклия. – Да, не годится...

Он повел в дальний конец узенького коридора и отворил дверь маленькой полутемной комнаты, выходящей одним окном куда-то в стену. Первая комната была светлая, а в окно можно было любоваться садиком. Половецкий посмотрел на о. келаря, но тот молчал.

– Здесь отлично будет, – объяснял брат Ираклий. – И солнце не будет вас беспокоить, и мух меньше...

Половецкий ничего не ответил. Когда о. келарь и брат Ираклий ушли, брат Павлин проговорил:

– И вот всегда так... Суется не в свое дело и везде ле-

зет, как осенняя муха. Никакого ему касательства до странноприимницы нет, а он распоряжается. А о. келарь всегда молчит... Великий он молчалник у нас... Ну вы тут пока устраивайтесь, а я пойду к себе. Ох, достанется мне от о. игумена... Сейчас-то он еще в церкви, а вот когда служба кончится.

Половецкий был рад, что, наконец, остался один. Какое это счастье быть одному, только самим собой... Он снял котомку и проговорил вслух:

– Вот мы и дома...

Он в последнее время часто говорил про себя, а не думал, и почти видел те слова, которыми мысленно говорил. По привычке к чистоплотности он хотел умыться с дороги и привести себя вообще в порядок, но в комнате не оказалось умывальника. Половецкий вышел в коридор и встретил опять брата Ираклия.

– Вам, может быть, не нравится ваша комната?

– Нет, ничего...

– А то у нас есть помещение на скотном дворе, где живет брат Павлин...

Половецкий покраснел и, сдерживая волнение, проговорил, отчеканивая слова:

– Послушайте, вам-то какое дело? Оставьте меня, пожалуйста, в покое... Ведь странноприимницей заведует о. келарь, а не вы.

Брат Ираклий нервно дернул тонкой шеей и улыбнулся.

– А дверь вы, все-таки, не имеете права затворять... да. У нас такое правило для мужского пола...

– Почему же такое правило?

– А вот по этому самому... Был такой случай... Тоже, вот как вы, пришел в обитель некоторый странник, и поселился в странноприимнице. Богомольный такой, все службы выстаивал и молился со слезами, а потом оказалось, что он по дочам мастерил фальшивую монету...

Готовый вспылить, Половецкий невольно рассмеялся.

– Нет, не беспокойтесь, я не фальшивый монетчик...

Для него было ясно, что брат Ираклий истеричный субъект и, вероятно, алкоголик.

– А где у вас можно умыться? – спросил он.

– Умыться? А в кухне висит рукомойка, там и умоетесь, – объяснил брат Ираклий простым тоном. – Сейчас по корридору направо...

– Очень вам благодарен.

– Не стоит благодарности...

Пока Половецкий приводил свой костюм в порядок и мылся, заблаговестили к обеду. Он отправился в церковь. Маленькая снаружи она оказалась внутри довольно просторной. Богомольцев было совсем мало. Какие-то убогия старушки, два мужика – и только. Служил сам пгумене, представительный старик с окладистой бородой. На клиросе пел всего один монах. Брат Ираклий был в церкви и торопливо перебегал с места на место. Половецкий по детским воспо-

минаниям особенно любил именно такие маленькие церкви, где так хорошо и чисто молилась детская чистая душа. Он выстоял всю службу, и ему опять было хорошо.

После службы к Половецкому подошел брат Павлин и пригласил в трапезную.

– Можете там и чайку попить... У нас это разрешается. И благословение от о. игумена примете.

Трапезная помещалась в одном из каменных флигелей старинной постройки. Вся обстановка состояла из одного длинного стола и приставленных к нему скамеек.

– Можно вам подать самоварчик и в номер, – предлагал брат Павлин.

– Нет, зачем же... И здесь хорошо.

– У нас сейчас будет обед, а чай пьют не все.

Собравшиеся монахи ничего особенного не представляли.

У всех простые русские лица, какие можно встретить на каждом шагу. И держали себя все просто. Не чувствовалось деланного монашеского смирения. Один брат Ираклии представлял некоторое исключение своей неестественной суетливостью. Он, очевидно, уже успел предупредить игумена о новом монастырском госте.

– Вы хотите у нас пожить? – спросил о. игумен просто и спокойно, точно они только вчера расстались.

– Да, если вы позволите...

– С удовольствием... Можете иметь даже особую пищу,

конечно, постную, как следует по уставу.

Трапеза продолжалась очень недолго, потому что состояла из картофельной похлебки и жареной рыбы. Игумен пил чай и предложил Половецкому.

– У нас не все пьют чай, – объяснил он. – Братия вся из простецов.

Монастырская простота очень понравилась Половецкому. Чувствовалось что-то такое трудовое, серьезное. Ничего лишнего. Это была настоящая крестьянская монашеская община.

После короткого отдыха половина братии отправилась на покос грести сено. Брат Павлин чувствовал себя виноватым зя пропущенные рабочие дни и только вздохнул.

– Ах, как все это нехорошо вышло! – сообщил он Половецкому. – Каялся я игумену, а он хоть бы слово... «Твое дело, тебе и знать». Вот и вес разговор... Презирает он меня за мое малодушие. А все Ираклий подбивал... Сам-то не пошел, а меня подвел. Кого угодно на грех наведет, строптивец... И надо мной же издевается.

– Вы сейчас идете в поле?

– Да.

– Можно мне с вами?

– Конечно... Только вам-то неинтересно будет смотреть на нашу мужицкую работу. Я-то уж себе придумал эпитимию... У нас луга заливные, а есть одно вредное местечко, называется мысок. Трава на нем жесткая, осока да белоус...

Прошел ряд и точи косу. Работа тяжелая, ну, я этот мысок и выкошу. Братии-то и будет полегче.

– И для меня коса найдется?

– Конечно...

– Я когда-то умел косить, когда жил у себя в имени.

– Вот, вот...

Брат Павлин провел Половецкого сначала к себе на скотный двор. Монашеское хозяйство было не велико: три лошади и десятка два кур. За скотным двором шел большой огород со всяким овощем. Брат Павлин, видимо, гордился им особенно.

– У нас в обители все свое, кроме молока и хлеба. Пробовали разбивать пашенку, да земля оказалась неродимая... За то всякий овощ превосходно идет, особенно капуста. Она любит потные места...

Заливные луга облегли озеро зеленой каймой. Издали можно было видеть четырех монахов, собиравших готовое сено в копны. Они работали в одних рубашках, и об их монашеском звании можно было догадываться только по их черным скуфейкам. Мысок оставался нетронутым. Брат Павлин смотрел недоверчиво, когда Половецкий брался за косу, но сейчас же убедился, что он умеет работать.

– Потрудитесь на обитель, – заметил он, привычным жестом делая первый розмах.

Было жарко, и после часовой работы Половецкий с непривычки почувствовал сильную усталость. Правое плечо точно

было вывихнуто. Брат Павлин работал ровно и легко, как работает хорошо сложенная машина. Половецкий едва тянулся за ним и был рад, когда подошел брат Ираклий.

– Извольте баловаться, барин?

– Да, немножко...

– Для аппетита?

– Да, для аппетита... А вот вы зачем не работаете?

– У меня совсем другая работа. Я по письменной части...

– Одно другому не мешает.

Когда Половецкий начал вытирать пот с лица, брат Ираклий с улыбкой проговорил:

– Что, видно, белыми-то руками трудненько добывать черный хлеб?

VII

В течение нескольких дней Половецкий совершенно освоился с обительской жизнью, и она ему начинала нравиться. Между прочим, у него вышел интересный разговор с игуменом, когда он предъявил ему свой паспорт. О. Мисаил внимательно прочел паспортную книжку, до полицейских отметок включительно, и, возвращая ее, проговорил:

– Что-же собственно вам угодно, Михайло Петрович?

– Отдохнуть, т. е. собраться с силами, проверить себя, подвести итог, успокоиться... Ведь я жестоко измучился...

– Так, так... Но ведь по своему общественному положению

вы могли устроиться по желанию, как хотели?

– Вот я и устроился... Мне нужно собраться с мыслями, а главное – на время уйти от той обстановки, в какой я жил до сих пор и от тех людей, с которыми я жил.

– Вижу, что у вас какое-то большое горе...

– Да, было... Я доходил до последней степени отчаяния и... и...

– Вижу: хотели лишиться себя жизни? – договорил о. Мисаил засевшую у Половецкого в горле фразу. – Великий и страшный грех отчаяние, потому что оным отрицается безграничное милосердие божие. Страшно подумать, когда человек дерзает идти против закона божия... Но есть и спасение для кающегося, если покаяние с верой и любовью.

– А если этой-то веры и нет?

– Вера есть в каждом, но она затемнена... Без веры не человек, а зверь. По нашей слабости нам нужно великое горе, чтобы душа проснулась... Горе очищает душу, как огонь очищает золото.

Половецкому очень хотелось поговорить с о. Мисаилом вполне откровенно, раскрыть всю душу, но его что-то еще удерживало. Он точно боялся самого себя и откладывал решительный момент.

– О. Мисаил, ведь в человеке живут два человека, – заметил он. – Один – настоящий человек, которого мы знаем, а другой – призрак, за которым мы гоняемся целую жизнь и который всегда от нас уходит, как наша тень.

Игумен посмотрел на Половецкого, пожевал губами и ответил:

– Это уже умствование... Вы поговорите о сем с Ираклием. Он у нас склонен к прениям...

Но с Ираклием Половецкий совсем не желал говорить. «Строптивец» преследовал его по пятам. Даже по ночам Половецкий слышал его шаги в коридоре, и как он прислушивался у дверей его комнаты.

Обитель «Нечаянные Радости» представляла собой типичную картину медленного разрушения и напоминала собой улей, в котором жизнь иссякала. Мало было братии и мало богомольцев. Но это именно и нравилось Половецкому, потому что давало ту тишину, которая дает человеку возможность прислушиваться к самому себе. Кроме Ираклия, все остальные не обращали на него никакого внимания. У каждого было какое-нибудь свое дело. Половецкий являлся чужим человеком, и он это чувствовал на каждом шагу.

Эта отчужденность с особенной яркостью почувствовалась им, когда в странноприимнице поселился какой-то купец, здоровый и молодой на вид, что называется – кровь с молоком. Вся обитель точно встрепенулась, потому что, видимо, приехал свой человек, родной. Он говорил громко, ходил решительными шагами и называл всех иноков по именам.

– Это Теплоухов, Никанор Ефимыч... – объяснил брат Павлин. – У них кирпичные заводы около Бобыльска. К нам

раза два в год наезжают, потому как у них тоска. Вот сами увидите, что они будут выделявать вечером.

– Он, вероятно, пьет запоем?

– Нет, этого нельзя сказать... Не слышно. А так, повреждение. О. игумена они очень уж уважают...

Действительно, вечером в странноприимнице произошла суматоха. Послышался истерический плач и какие-то причитанья. Так плачут только женщины. Но это бесновался Никанор Ефимыч, пока не пришел к нему о. Мисаил.

– Тошно мне, игумен... ох, тошнехонько! – с каким-то детским всхлипываньем повторял Теплоухов, не вытирая слез. – Руки на себя наложу...

– Успокойся, говорю тебе! – решительным тоном говорил игумен. – Опять задурил...

– Тошно, тошно...

По мере того, как игумен повышал голос, Никанор Ефимыч стихал и кончил каким-то детским шепотом:

– Страшно мне, игумен... Страшно!..

Утром на другой день Никанор Ефимыч опять говорил громко, выстоял всю службу, пообедал с братией в трапезной и, вообще, держал себя, как здоровый человек. Но вечером припадок отчаяния повторился и еще в более сильной форме. Странно, что брат Иракий боялся Никанора Ефимыча и все время где-то скрывался. Половецкий тоже чувствовал себя нехорошо и был рад, когда Никанор Ефимыч через три дня уехал к себе, в Бобыльск. После его отъезда

брат Ираклий снова показался и с удвоенной энергией начал опять преследовать Половецкого.

Прошла неделя. Раз Половецкий возвратился в свою комнату после всенощной и пришел в ужас. Его котомка была распакована, а кукла валялась на полу. Он даже побелел от бешенства, точно кто его ударил по лицу. Не было никакого сомнения, что все это устроил брат Ираклий Половецкий вне себя бросился разыскивать брата Павлина и сообщил ему о случившемся.

– Он, Ираклий... – согласился брат Павлин. – Он и чужия письма читает.

– Я... я не знаю, что сделаю с ним!.. Это... это... я не знаю, как это называется...

– Михайло Петрович, не сердитесь, – успокаивал его с обычной кротостью брат Павлин. – Это он так... в иступлении ума...

Брат Ираклий прятался от Половецкого дня два, а потом сам явился с повинной.

– Это я развязал вашу котомку, – заявил он, выправляя тонкую жилистую шею. – Да, я...

– Я знаю, что сделали это вы, но не понимаю, для чего вы это сделали.

– Я тоже не понимаю...

Брат Ираклий с виноватым видом стоял у дверей, а Половецкий шагал по комнате, заложив по военной привычке руки за спину. Он старался подавить в себе накипавшее бе-

шенство, а брат Ираклий, видимо, не желал уходить.

– Самое лучшее, что вы сейчас можете сделать – это уйти, – в упор проговорил Половецкий, останавливаясь.

– Позвольте, но предмет такой странный... – ответил брат Ираклий. – Наша обитель стоит триста лет, а такого предмета в ней не случилось...

– Это уж мое дело, какой предмет и для чего он у меня...

Брат Ираклий продолжал оставаться.

– Надеюсь, вы меня оставите одного? – резко заявил Половецкий, поворачиваясь к нему спиной.

– Что же, я и уйду... – кротко согласился брат Ираклий. – Только вы напрасно сердитесь на меня... и презираете... А я могу понимать и даже весьма...

– Вы?! Понимать?!..

– И очень даже просто... Я могу и по философии... В писании даже сказано: не сотвори себе кумира и всякого *подобия*... Очень просто.

Половецкий остановился и ответил:

– Представьте себе, что вы угадали... В этой смешной кукле, т. е. смешной для вас – для меня вся жизнь... да. Она меня спасла... В ней еще сохраняется теплота тех детских рук, которые ее держали... Она слышала первый лепет просыпавшегося детского сознания... На нее пал первый луч детского чувства... Она думает, она говорит... В ней сосредоточился весь мир. Понимаете вы меня?!

– Не скажу, чтобы понимал совсем, а догадываюсь...

– Нет, не догадаетесь и не старайтесь догадываться...

Половецкого начинало возмущать, что брат Ираклий стоит и дергает шеей. Он, наконец, не выдержал и проговорил:

– Да садитесь вы, наконец...

Брат Ираклий покорно присел на краешек стула, поджал под себя ноги и заметил:

– А ведь вы верно говорите... т. е. мне не случилось об этом думать. У вас, вероятно, были дети?

– Да, были... т. е. был один ребенок...

– И он... умер...

– Да... т. е. хуже... Ах, ради Бога, не пытайте меня?!.. Какое вам дело до меня?

– Извините, я это так-с...

– Вы понимаете?!.. – продолжал Половецкий, снова начиная шагать по комнате. – У меня была дочь... маленькая девочка... и... о, Боже мой, Боже мой!.. На моих глазах, у меня на руках начинал погасать свет сознания... Почему? Как? На основании каких причин? Я ее по целым дням носил на руках, согревал ее собственным дыханием, а она уходила от меня все дальше, дальше, в тот неведомый никому мир, где сознание уже не освещает живую душу... Нет, сознание являлось отдельными вспышками, как блуждающий болотный огонек... И когда? Когда она брала на руки свою куклу... Между ними была какая-то таинственная связь... это необъяснимо, но я это чувствовал... Понимаете вы меня? Да, вот эта кукла вызывала последние отблески сознания, как гор-

ные вершины отражают на себе последние лучи догорающей зари. И свет погас... о, Боже мой! Боже мой!.. Зачем я это говорю вам?!..

Брат Ираклий сидел, сгорбившись, и слушал. Он умел слушать.

– Вы любили когда-нибудь женщину? – в упор неожиданно спросил его Половецкий.

Брат Ираклий испуганно выпрямился и посмотрел на Половецкого непонимающими глазами.

– Я? Нет, не случалось...

– Самое лучшее... Это обман чувств, иллюзия... Зачем я вас спрашиваю об этом?

– Нет, отчего-же... Я еще не инок, а только на послушании, как и брат Павлин. По-моему, вы все, т. е. мирские люди – не уважаете женщину...

Половецкий остановился и с удивлением посмотрел на брата Ираклия. Это был совсем не тот человек, которого он себе представлял и которого видел эти дни.

VIII

В обители было тихо. Это была чутко-дремлющая, жуткая тишина...

Половецкий прожил в обители уже целый месяц и чем дольше жил, тем точно дальше уходил от неё. Это было странное, двоившееся чувство, в котором он не мог дать себе

отчета. Ему казалось, что монахи сторонятся его, как чужого человека. А между тем, у них была своя жизнь, и они понимали друг друга с полуслова. Какая то стена отгораживала Половецкого от внутреннего мира этой монашеской крестьянской артели. Собственно даже не было и монахов в общепринятом смысле, а просто самые обыкновенные крестьяне в монашеском платье. У обители существовала своя живая связь с окружающим крестьянским миром. Каждый день у обительских врат появлялись крестьянские телеги. Большинство приходило пешком. У каждого было свое дело. Стояла страдная пора, и попусту никто не отрывался от работы. Половецкого особенно поразил один бородастый типичный мужик, приехавший верхом. У него было такое простое славное русское лицо.

– Мне бы игумна повидать... – обратился он к Половецкому.

– А что? – невольно спросил тот.

– А так... поговорить... Значит, сын, большак, помер... Двое ребят осталось... жена...

Игумен принимал всех и во всякое время. Мужик прошел в игуменскую келью, и Половецкий видел, как он возвращался через полчаса, шагая по монастырскому двору тяжелой мужицкой походкой. Он шел, держа шапку в руках, и встряхивал головой, в которой, видимо, плохо укладывались слова пастырского утешения. Он неторопливо отвязал свою лошадь, тяжело подпрыгнул на нее и с трудом сел. Половец-

кий долго смотрел, как он ехал, болтая руками и ногами.

Между прочим, особенностью обители «Нечаянные Радости» было то, что в ней редко можно было встретить профессиональных странников и богомолков, за исключением праздников.

– Наша обительская пища скудная, вот и нечего здесь делать, – коротко объяснил брат Павлин. – Да и богатых богомольцев совсем мало бывает...

Месячный срок пребывания Половецкого прошел очень быстро.

– Вам уж пора домой, милостивый государь, – с обычной дерзостью заявил брат Ираклий. – У нас устав...

Половецкий отправился переговорить с о. игуменом и предложил уплатить деньги.

– Мне хотелось бы пожить у вас еще с месяц, если конечно, это вас не стеснит...

– По уставу не полагается, Михайло Петрович. А денег мы не принимаем, тоже по уставу... Для этого при странноприимнице есть кружка.

– Но ведь я могу заболеть, о. Мисаил?

– Конечно, можете...

– Я и сейчас серьезно болен...

– Дело ваше. Я не гоню, а только устав... Хотя апостол Павел и сказал, что по нужде и закону пременение бывает. Мое дело сказать вам...

Половецкий ушел от игумена ни с чем. Брат Ираклий уже

подждал его с торжествующим злорадством.

– Возжелали прельстить инока золотом? Совершенно напрасно-с... У нас устав. Есть, конечно, один способ... да... Отправляйтесь в Бобыльск денька на три, а потом и начнете снова свой месяц в обители.

– Благодарю вас за хороший совет...

Брат Павлин взглянул на дело гораздо проще и посоветовал оставаться в обители без всяких объяснений.

– А там видно будет, что и как, – прибавил он с кроткой улыбкой. – Ведь вы даже работали на обитель, так что к другим нельзя приравнять.

Половецкому сделалось грустно. Куда он мог идти? Такого места не было... Он уже начинал свыкаться с обительской тишиной, с длинными монастырскими службами, с монастырской работой, которую вел под руководством брата Павлина. Всего больше ему нравились рыбные ловли на озере, хотя летом рыба и ловилась плохо.

В дальнем конце озера было несколько болотистых островков, обложенных озерными камышами. Сюда Половецкий и уезжал с братом Павлином иногда дня на три. Они ночевали под открытым небом около огонька, а в ненастную погоду укрывались в шалашике из еловых ветвей, прикрытых сверху берестой и еловой корой. Наступала уже осень, дни делались короче, и Половецкий с наслаждением проводил около огня целые часы в созерцательном настроении. Ах, как все прошлое было далеко-далеко... Кругом ни души.

Ночная тишина нарушалась только ропотом озерной волны да гомоном разной птицы, гнездившейся по камышам. Брат Павлин в эти моменты делался как-то особенно разговорчив, вернее сказать – он любил думать вслух. Эта детски-чистая душа воспринимала впечатления природы с каким-то религиозным экстазом и видела везде Бога, везде чудо и везде несказанное словом поучение.

– А человеку все мало... – думал вслух брат Павлин. – А человек все неистовствует в своей неистовой слепоте... да. Приезжал к нам в обитель года два назад один старичок и навел сомнение. Очень даже вредно говорил. «Вы, говорит, спасаете душу, значит хотите непременно быть лучше других, и ваше монашеское смирение паче гордыни». Потом много говорил вредного на счет нашей монахаеской одежды и пищи... Зачем вот мы рыбу едим. «Человеку, говорит, этого нигде не указано». С ним сцепился Ираклий и начал говорить от писания, а старик ему наоборот: «Все это, говорит, надо понимать иносказательно». И даже весьма ядовитым оказал себя, т. е. старичок. По писанию совсем загонял нашего Ираклия... А как вы полагаете, Михайло Петрович, на счет этой самой рыбки? Ведь она тоже чувствует, хотя сказать этого и не умеет...

– Право, не знаю, брат Павлин. По-моему, дело совсем не в том, во что человек оденется и что он ест. Важно то, как он вообще живет, а еда и платье пустяки.

– Вот, вот... У нас есть и деревенская поговорка такая:

рыбку-то ешь, да рыбака не ешь.

– Если кто может обойтись даже без рыбки – отлично. Я уверен, что в будущем не будут есть ни мяса, ни рыбы, потому что это несправедливо, но дело все-таки не в этом. По моему, это мести лесенку с нижней ступеньки...

– А я опять так думаю, Михайло Петрович: ну, хорошо, никто не будет есть говядину, а куда же тогда скот денется? Зачем же я буду даром кормить бычка или свинушку?.. Куда, например, денутся лишние петушки, которые ежели сверх числа? Ну, на быке еще можно и ездить, и землю пахать, а на петухе или на свинье далеко не уедешь.

– Тогда превратятся в дикое состояние, как сейчас есть дикие олени или дикия утки и разная дичь.

– А что-же, ведь в самом деле все возможно, Михайло Петрович!.. И даже очень просто...

Эта мирная рыбная ловитва была нарушена неожиданным появлением брата Ираклия. Возвращаясь на свой остров вечером, когда все сети были выметаны, Половецкий заметил горевший у их балагана огонь. Не нужно было говорить, какой гость пожаловал. Брат Павлин только угнетенно вздохнул, предчувствуя неприятность. Действительно, это был брат Ираклий, сидевший около костра.

– Вы это зачем пожаловали к нам? – довольно сурово спросил Половецкий.

– Я-то? А пл серьезному делу... Казус.

– Донос написали?

– Именно-с...

– Очень интересно...

– Не знаю, как понравится, а только старался. Кстати я захватил и документик с собой... Завтра пойдет к владыке. Нарочно приехал, чтобы показать вам.

– Пожалуйста, избавьте меня, – заметил Половецкий, снимая промокший кожаный рыбацкий фартук. – Я не страдаю любопытством...

– Однако-же... Зачем я в таком случае ехал сюда и даже чуть не утонул?

Брат Ираклий как-то весь сжался, ехидно улыбался и грел свои красные руки над огнем. Брат Павлин поставил над костром котелок с водой для ухи. Где-то со свистом пролетело стадо диких уток, отправлявшихся на ночную кормежку.

– Так я вам прочитаю... – продолжал брат Ираклий, вынимая из-за пазухи свернутый в четверо лист бумаги.

Он присел на корточки к огню и принялся за чтение, время от времени поглядывая на Половецкого. Донос представлял собой самое нелепое произведение, какое только можно было себе представить, начиная с того, что Половецкий обвинялся в идололатрии, а его кукла называлась идолом. По пути обвинялся игумен, мирволивший занесенному в обитель идолопоклонству и не в пример другим позволившему проживать идололатру в обители свыше месяца, положенного уставом. Заканчивался донос тем, что в новое идолопоклонство вовлечен скудный умом брат Павлин.

– Что-же, не дурно, – похвалил спокойно Половецкий, когда чтение доноса кончилось. – Скажу даже больше: мне нравится стиль... Кстати, могу только пожалеть почтеннейшего владыку, который будет читать ваше произведение.

IX

На озере поднимался шум разгулявшейся волны. Это делал первые пробы осенний ветер. Глухо шелестели прибрежные камыши, точно они роптали на близившуюся осеннюю невзгоду. Прибрежный ивняк гнулся и трепетал каждым своим листочком. Пламя от костра то поднималось, то падало, рассыпая снопы искр. Дым густой пеленой расстился к невидимому берегу. Брат Ираклий по-прежнему сидел около огня и грел руки, морщась от дыма. Он показался Половецкому таким худеньким и жалким, как зажаренный цыпленок.

– Вам не совестно, брат Ираклий? – неожиданно спросил его Половецкий.

– Мне? Нет, я только исполняю волю пославшего мя и обличаю... Вам все это смешно, милостивый государь, потому-что... потому-что... Да, в вас нет настоящей веры.

– Позвольте...

– Нет, уж вы мне позвольте... Верующих в Бога много, и такие встречаются даже между корреспондентами. А вот господа интеллигентные люди не желают верить в беса... Не

правится им. Да... А это невозможно. Ежели есть Бог, должен быть и бес... Очень просто.

– Вы не правы. Есть целый ряд сект...

– Знаю-с и даже очень. Например, люциферианизм, сатанизм, культы Изиды, Пана, Диониса – и еще много других. Но это все другое... Тут важен только символ, а не сущность. Дьявол, демон, сатана, люцифер, Мефистофель – это только отвлеченные понятия... да. А бес живой, он постоянно около нас, и мы постоянно в его бесовской власти. Вот вам даже смешно меня слушать, а, между тем, в Кормчей что сказано: к простому человеку приставлен один бес, к белому попу – семь бесов, а к мниху – четырнадцать. А вот вы верите в куклу...

– Да, верю. Я уже говорил вам... Для меня она нечто живое, даже несколько больше, потому-что она живет и не умирает.

– Вот-вот, как бес... В ней сидит бес, принявший образ и подобие.

Вопрос о кукле не выходил из головы брата Ираклия все это время и мучил его своей таинственностью. Тут было что-то непонятное и таинственное, привлекавшее к себе именно этими свойствами. Брат Ираклий, конечно, докладывал о кукле игумену, но тот ответил всего одной фразой:

– Не наше дело.

Уезжая на рыбную ловлю, Половецкий куда-то прятал свою котомку, и брат Ираклий напрасно ее искал по всем уг-

лам странноприимницы. Он жалел, что тогда не истребил ее, как следовало сделать по настоящему.

– Веры не хватило... – укорял самого себя брат Ираклий.

Между прочим, и на острова он отправился с тайной целью отыскать на рыбачьей стоянке проклятую куклу. Но её и здесь не оказалось.

Брат Павлин умел варить великолепную уху, а сегодня она была как-то особенно хороша. Ели все прямо из котелка деревянными ложками, закусывая монастырским ржаным хлебом, тоже замечательным произведением в своем роде. Брат Ираклий и ел, не как другие: торопился, обжигался, жмурил глаза и крошил хлеб.

– Зачем сорить напрасно дар Божий? – сурово заметил ему брат Павлин.

Это было еще в первый раз, что брат Павлин сделался строгим, а брат Ираклий не нашелся, что ему возразить.

– Чайку бы хорошо теперь выпить... – как-то по-детски проговорил брат Ираклий, когда уха была кончена.

– Ничего, хорошо и так, – прежним тоном ответил брат Павлин. – Чревоугодие.

Вечер был теплый. Ложиться спать рано никому не хотелось. Брат Павлин нарубил дров для костра на целую ночь и даже приготовил из травы постель для брата Ираклия.

– Настоящая перина... – похвалил он.

– Отлично, – согласился брат Ираклий, вытягиваясь на своей перине.

Половецкий сидел на обрубке дерева и долго смотрел на огонь, в котором для него всегда было что-то мистическое, как символ жизни. Ведь и человек так же сгорает, как горели сейчас дрова. И жизнь, и обновление, и перемена только формы существования.

– Вы видали, господа, фонограф? – спросил Половецкий после долгой паузы.

Брат Павлин не имел никакого понятия о граммофоне, а брат Ираклий видал его у покойного Присыпкина. Половецкому пришлось объяснить его устройство.

– Господи, до чего только люди дойдут! – удивлялся брат Павлин. – Даже страшно подумать...

– Страшного, положим, ничего нет, а интересно, – продолжал Половецкий. – Благодаря телефону сделано удивительное открытие, на которое почему-то до сих пор не обращено никакого внимания. Именно, голоса своих знакомых узнаешь, а свой голос не можешь узнать... Я сам проделывал этот опыт.

– И что-же из этого? – спрашивал брат Ираклий. – По моему, решительно ничего особенного...

– Нет, есть особенное. Этот опыт доказывает, с поразительной очевидностью, что человек знает всего меньше именно самого себя. Скажу больше – он имеет целую жизнь дело с собой, как с таинственным незнакомцем.

– Познай самого себя, как сказал греческий мудрец.

– Вот именно этого-то познания человеку и не достает.

В этом корень всех тех ошибок, из каких состоит вся наша жизнь. Найдите мне человека, который в конце своей жизни сказал бы, что он доволен вот этой прожитой жизнью и что если бы имел возможность прожить вторую жизнь, то не прожил бы ее иначе. Счастливейший из завоевателей Гарун-аль-Рашид перед смертью сказал, что в течение своей долгой жизни был счастлив только четырнадцать дней, а величайший из поэтов Гете признавался, что был счастлив всего четверть часа.

– Все зависит от того, какие требования от жизни, – спорил брат Ираклий. – Богатому жаль корабля, а нищему кошелья... Вот богатому-то и умному и трудно быть счастливым. Вот вы, например – я уверен, что вы были очень богатым человеком, все вам надоело и вот вы пришли к нам в обитель.

– Вы почти угадали, хотя и не совсем. Относительно я и сейчас очень богатый человек, но в обитель пришел не потому, что пресытился богатой жизнью.

– Извините, это я так, к слову сказал... Не имею права допытываться. Павел Митрич Присыпкин в последнее время так вот как тосковал и даже плакал.

Половецкому хотелось что-то высказать, что лежало камнем на душе, но он почему-то удержался, хотя и подходил уже совсем близко к занимавшей его всецело теме. Брату Ираклию надоело лежать, и он присел к огню. Половецкий долго рассматривал его лицо, и оно начинало ему нравиться.

Есть такие особенные лица, внутреннее содержание которых открывается постепенно.

– А вы знаете, отчего погибнет Европа со всей своей цивилизацией? – неожиданно спросил брат Ираклий, обращаясь к Половецкому.

– Мудреный вопрос...

– И несколько не мудреный... Я много думал об этом и пришел к своему собственному заключению.

– Из газет вычитал, – заметил брат Павлин.

– Кое-какие факты, конечно, брал из газет. Люблю почитать, что делается на белом свете... Так не можете ничего сообразить? Так и быть скажу: Европа погибнет от чумы... да-с.

– Почему-же именно от чумы, а не от какой-нибудь другой болезни? – полюбопытствовал Половецкий. – Кажется, нынче принимаются все средства для борьбы с чумой...

– У докторов свои средства, а у чумы свои. Прежде-то она пешечком приходила, а нынче по железной дорожке прикатит или на пароходе приедет, как важная генеральша. Очень просто... Тут уж ничего не поделаешь.

– Вот и послушайте его, – добродушно заметил брат Павлин, качая головой. – Тоже и скажет человек...

– Я правду говорю... да. И всегда скажу. А, знаете, почему именно нашу Европу съест эта самая чума? А за наши грехи... Ох, сколько этих грехов накопилось... Страшно подумать... Везде паровые машины, телеграфы, пароходы, ре-

вольверы, швейные машины, велосипеды, а черному простому народу все хуже да хуже. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Все, кажется, придумали, а вот машину, чтобы хлеб приготавливала – не могут... И никогда не придумают. А почему? Ну-ка, брат Павлин, раскинь умом? Нет, лучше и не беспокойся. А дело-то самое простое: хлеб есть дар Божий. Без ситца, без машины, без самовара можно прожить, а без хлеба не проживешь.

Брат Ираклий молчал, дожидаясь возражений.

– А еще какие грехи у Европы? – спросил Половецкий.

– Есть и еще грехи: осквернение женщины. Тут и дворцы, и железная дорога, и броненосцы, и Эйфелева башня, и подводный телеграф, а девица осквернена. И таких девиц в Европе не один миллион да еще их же рассылают по всему свету на позор... да.

– Разврат существовал всегда, в самой глубокой древности.

– Разврат-то существовал, но он прятался, его стыдились, блудниц побивали камнями, а нынешняя блудница ходит гордо и открыто. Где же любовь к ближнему? Где прославленная культура, гуманизм, великия идеи братства и свободы? Вот для неё, для девицы, не нашлось другого куска хлеба... Она хуже скота несмысленного. Это наш грех, общий грех... Мы ее видели и не помогли ей, мы ее не поддержали, мы ее оттолкнули от нашего сердца, мы насмеялись над ней.

В голосе брата Ираклия послышались слезы. По его тон-

кому лицу пробежала судорога, а длинные руки дрожали.

– Все-таки, наука сделала много, – заговорил Половецкий, глядя на огонь. – Например, нет прежних ужасных казней, как сажанье на кол, четвертование, сожжение на кострах. Нет, наконец, пыток... Человек-зверь еще, конечно, остался, но он уже стыдится проявлять свое зверство открыто, всенародно, на площади. А это много значит...

– Нет, человек-зверь только притаился и сделался хитрее, – спорил брат Ираклий. – Вы только подумайте, что в таких центрах цивилизации, как Париж или Лондон, люди могут умирать с голоду. А всякая новая машина разве не зверь? Она у кого-нибудь да отнимает хлеб, т. е. работу. А польза от неё идет в карманы богатых людей. Египетские работы, про которые сказано в писании, пустяки, если сравнить их с работой где-нибудь в каменноугольной шахте, где человек превращается в червя. И еще много других цивилизованных жестокостей, как, например, наши просвещенные войны, где убивают людей десятками тысяч в один день. Ваша святая наука лучшие свои силы отдает только на то, чтобы изобретать что-нибудь новое для истребления человечества.

– А Наполеон? – с улыбкой спросил брат Павлин.

Брат Ираклий как-то весь вострепнулся и ответил убежденным тоном:

– Наполеон – гений, и его нельзя судить простыми словами. Да... Это был бич Божий, посланный для вразумления погрязшей в грехах Европы.

– Любит он Наполеона, – объяснил брат Павлин, обращаясь к Половецкому. – Нет ему приятнее, как прочитать про этого самого Наполеона.

Время пролетело незаметно. Брат Павлив посмотрел на небо и сказал:

– Пора спать... Часов десять есть.

У Половецкого давно смыкались глаза от усталости, и он быстро заснул. А брат Ираклий долго еще сидел около огня, раздумывая относительно Половецкого, что это за мудреный барин и что ему понадобилось жить в их обители. А тут еще эта кукла... Ну, к чему она ему?

Х

Брат Ираклий занимал отдельную, довольно большую келью, служившую и монастырской канцелярией. У него была «мирская» обстановка, т. е. на стенах картины светского содержания, на окнах цветы и занавески, шкафчик со светскими книгами и т. д. Впрочем, все это «светское» ограничивалось культом Наполеона: библиотечка состояла исключительно из книг о Наполеоне, картины изображали его славные военные подвиги. На стенах висело до десятка портретов Наполеона в разные периоды его бурной жизни. Но главной драгоценностью брата Ираклия был бронзовый бюст Наполеона со скрещенными на груди руками. Это была своего рода реликвия. Почему и как образовался этот культ, трудно сказать, и сам

брат Ираклий вероятно, мог бы объяснить меньше всех.

– Ты бы выбросил эту дрянь, – советовал игумен, когда по делу приходил в келью Ираклия. – Не подобает для обители...

Брат Ираклий упорно отмалчивался, но оставался при своем. Игумен его, впрочем, особенно не преследовал, как человека, который был нужен для обители и которого считал немного тронутым. Пусть его чудит, благо, вреда от его причуд ни для кого не было.

Второй слабостью брата Ираклия были газеты, которые он добывал всеми правдами и неправдами. В этом случае он считал себя виноватым и хитрил. Он даже выписывал свою газету, которую получал на имя одного городского знакомого. Для брата Ираклия было истинным праздником, когда он из Бобыльска получал с какой-нибудь «оказией» кипу еще нечитанных газет. Этот заряд газетного яда он проглатывал с жадностью, как наркотик. Читать приходилось украдкой, по ночам, с необходимыми предосторожностями. Начитавшись, брат Ираклий испытывал жгучую потребность с кем-нибудь поделиться почерпнутым из газетного кладезя материалом, но братия состояла из еле грамотных простецов, и жертвой являлся безответный брат Павлин.

– Ничего я не понимаю... – кротко признавался брат Павлин. – Темный человек...

– А ты слушай, – настаивал брат Ираклий.

– Только не говори мудреных слов, Христа ради. Может

быть, и слушать-то тебя грешно... Вот ежели бы почитал божественное...

– Нет, ты слушай!.. Какая теперь штука выходит с немцем... Ох, и хитер же этот самый немец!.. Не дай Бог... Непременно хочет завоевать весь мир, а там американец лапу протягивает, значит, не согласен...

Появление в обители Половецкого дало брату Ираклию новую пищу. Помилуйте, точно с неба свалился настоящий образованный человек, с которым можно было отвести душу вполне. Но тут замешалась проклятая кукла... Заведет брат Ираклий серьезный разговор, Половецкий делает вид, что слушает, а по лицу видно, что он думает о своей кукле. И что только она ему далась, подумаешь!.. Раз брат Ираклий пригласил к себе Половецкого выпить чаю. Это было после ночной беседы на острове. Половецкий сразу начал относиться к брату Ираклию иначе.

– Вот посмотрите, Михаил Петрович... – говорил брат Ираклий, с гордостью указывая на своих Наполеонов. – Целый музей-с. Одобряетес?

– Дело вкуса... Лично я в Наполеоне уважаю только гениального стратега, а что касается человека, то он мне даже очень не нравится.

– Очень даже напрасно-с... Великого человека нельзя судить, как обыкновенного смертного. Ему дан дар свыше... И угодники прегрешали, а потом искупали свою вину великими подвигами.

Между прочим, одно пустое обстоятельство привлекло Половецкого к брату Ираклию, именно, будущий инок с какой-то болезненной страстностью любил цветы, и все обительские цветы были выращены им. Половецкому почему-то казалось, что такой любитель цветов непременно должен быть хорошим человеком.

– Значит, по-вашему, Наполеон просто гениальный разбойник, Михайло Петрович?

– Около этого...

– Так-с... А как понимать по-вашему господ американцев?

Половецкий уже привык к неожиданным вопросам и скачкам мысли в голове брата Ираклия и только пожал плечами.

– Американцы – негодяи!.. – решительно заявил брат Ираклий, дергая шеей.

– Я не понимаю, какая-же тут связь: Наполеон и американцы?

– А есть и связь: Наполеон хотел завоевать мир мечем, а гг. американцы своим долларом. Да-с... Что лучше? А хорошие слова все на лицо: свобода, братство, равенство... Посмотрите, что они проделывают с китайцами, – нашему покойнику Присыпкину впору. Не понравилось, когда китаец начал жать янки своим дешевым трудом, выдержкой, выносливостью... Ха-ха!.. На словах одно, а на деле совершенно наоборот... По мне уж лучше Наполеон, потому что в силе есть великая притягивающая красота и бесконечная поэзия.

Они наговорились обо всем, т. е. говорил собственно брат Ираклий, перескакивая с темы на тему: о значении религиозного культа, о таинствах, о великой силе чистого иноческого жития, о покаянии, молитве и т. д. Половецкий ушел к себе только вечером. Длинные разговоры его утомляли и раздражали.

Брат Ираклий, проводив редкого гостя, не утерпел и прокрался через кухню в странноприимницу, чтобы подсмотреть, что будет делать Половецкий. В замочную скважину брат Ираклий увидел удивительную вещь. Половецкий распаковал свою котомку, достал куклу и долго ходил с ней по комнате.

– Ты довольна? – говорил он таким тоном, как говорят с маленькими детьми, – Тебе хорошо здесь? Ах, милая, милая...

Потом он усадил ее на стол, а сам продолжал ходить.

– Ты у меня маленькая язычница... да?.. – думал Половецкий вслух. – Нет, нет, я пошутил... Не следует сердиться. Мы будем всех любить... Ведь в каждом живет хороший человек, только нужно уметь его найти. Так? бесконечная доброта – это религия будущего и доброта деятельная, а не отвлеченная. Ты согласна со мной? Так, так... сейчас человек хуже зверя, а будет время, когда он сделается лучше.

– Да он сумасшедший!.. – в ужасе решил брат Ираклий, стараясь уйти от лвери неслышными шагами. – Да, настоящий сумасшедший... Еще зарежет кого-нибудь.

Из странноприимницы брат Иракий отправился прямо к игумену и подробно сообщил о сделанном открытии. Игумен терпеливо его выслушал и довольно сурово ответил:

– Не наше дело... Худого он ничего для нас не делает. Человек сурьезный! А что касается этой куклы, так опять не наше дело. Донос-то послал, что-ли?

– Как же, отправил-с...

– Вот это похуже куклы будет... В тебе бес сидит.

Брат Иракий ушел ни с чем, обдумывая, как написать второй донос, чтобы он попал в самую точку.

XI

Самым неприятным временем в обители для Половецкого были большие годовые праздники, когда стекались сюда толпы богомольцев, а главное – странноприимница наполнялась самой разношерстной публикой. Даже в коридоре и на кухне негде было повернуться. В качестве своего человека в обители, Половецкий уходил на скотный двор к брату Павлину, чтобы освободить свою комнату для приезжих богомольцев. Брат Павлин ютился в маленькой каморке около монастырской пекарни. Здесь всегда пахло кожей, дегтем, веревками и прочими принадлежностями конюшенного хозяйства.

– Потеснимся как-нибудь, – извинялся каждый раз брат Павлин. – В тесноте да не в обиде...

Он уступал гостю свое место на лавке, а сам забирался на печку, не смотря ни на какой жар.

В обители большим праздником считался Успеньев день, когда праздновался «престол» в новой церкви. Вперед делались большие приготовления, чтобы накормить сотни богомольцев. Вся братия была погружена в хозяйственные заботы, и даже брат Иракий должен был помогать на кухне, где месил тесто, чистил капусту и картофель. Половецкий забрался к брату Павлину за два дня и тоже принимал участие в общей братской работе в качестве пекаря.

Наплыв богомольцев нынче превзошел все ожидания. Между прочим, в этой пестрой толпе Половецкий заметил повара Егорушку, который почему то счел нужным спрятаться. Затем он встретил Егорушку уже в обществе брата Иракия. Они о чем то шептались и таинственно замолчали, когда подошел Половецкий.

– Ты как сюда попал? – спросил Половецкий смущенного Егорушку.

– А так, ваше высокоблагородие, – по солдатски вытянувшись, ответил Егорушка. – Грехи отмаливать пришел. Значит, на нашем пароходе «Брате Якове» ехал наш губернатор... Подаю ему щи, а в щах, например, таракан. Уж как его, окаянного, занесло в кастрюлю со щами – ума не приложу!.. Ну, губернатор сейчас капитана, ногами топать, кричать, а капитан сейчас, значит, меня в три шеи... Выслужил, значит, пенсию в полном смысле: четыре недели в месяц жа-

лованья сейчас получаю. Вот и пришел в обитель грех свой замаливать...

– Эх тебя угразило! – жалел брат Ираклий.

– Куда же вы теперь? – спросил Половецкий.

– А вот уж этого, ваше высокоблагородие, я никак даже не могу знать. Из всей родни есть у меня один племянник, только не дай Бог никому такую родню. Глаз то ведь он мне выткнул кнутовищем, когда я выворотился со службы... Как же, он самый!.. Я значит, свое стал требовать, что осталось после упокойного родителя, распорились, а он меня кнутовищем да прямо в глаз...

– Одним словом, веселый племянник, – подзадоривал брат Ираклий.

В течение дня Половецкий несколько раз встречал Егорушку в обществе брата Ираклия, и Половецкому казалось, что солдат к вечеру был уже с порядочной мухой. У них были какие то тайные дела.

Комнату Половецкого в странноприимнице занял бобльский купец Теплоухов, приехавший на богомолье с женой, молодой и очень видной женщиной.

– Ну теперь он будет тише воды – ниже травы, – объяснил брат Павлин, – потому боится своей Пелагеи Семеновны и в глаза ей смотрит. Очень сурьезная женщина, хотя и молодая...

Действительно, Теплоухов держал себя, как совсем здоровый человек. Он поздоровался с Половецким, как со старым

знакомым.

– Ну, как вы тут живете? – довольно фамильярно спросил он Половецкого. – Настоящее воронье гнездо... х-ха!..

– Кому что нравится, – уклончиво ответил Половецкий. – Вот вы приехали-же?..

– Жена притащила, а потом особливый случай вышел...

Половецкому совсем не хотелось разговаривать с истеричным купчиком, но Теплоухов не отставал. Они прошли на скотный двор, а потом за монастырскую ограду. День выдался теплый и светлый, с той печальной ласковостью, когда солнце точно прощается с зыблею и дарит ее своими последними поцелуями. В самом воздухе чувствовалась близость холодного покоя.

– А все-таки хорошо... – думал вслух Теплоухов, когда они вышли на монастырский поемный луг, выступавший в озеро двумя лесистыми мысками. – Ведь вот чего проще: заливной луг. Мало ли у нас таких лугов по р. Камчужной, а вот, подите, монастырский луг кажется особенным... да... И хлеб обительский тоже особенный, мы его с женой домой увозим, и щи, и каша. Да все особенно...

Они прпсели на сваленное бревно, гнвшее без всякого основания. Теплоухов оглянулся и заговорил уже другим тоном:

– А ведь я тогда обманул игумна... Ей Богу! Ведь нарочно приезжал ему каяться, а слов то и не хватило. Нету настоящих слов – и шабаш. У меня такая бывает смертная тоска...

Слава Богу, кажется, все есть, и можно сказать, что всего есть даже через число. Нет, тоска... А тут... Да, тут вышел совсем даже особенный случай...

Он сделал остановку, перевел дух, огляделся кругом и заговорил уже шепотом:

– Мне все исправник Пал Митрич представляется... Тогда еду в обитель, а он спрятался за сосну и этак меня пальчиком манит. В таком роде, что вот-вот скажет: «Голубчик, Никанор Ефимыч, выпьем по маленькой»... Ей Богу! Трясет меня, потом холодным прошибло, а он все по стороне дороги за мной бежит... И ведь как ловко: то за дерево спрячется, то за бугорок, то в канавку скачет. Откуда прыть, подумаешь... А мой кучер как есть ничего не видит. Еле жив я тогда до обители добрался. Ну, думаю, игумен отмолит нахождение... Два дня прожил, а сказать ничего не мог.

– Может быть, вы много пили перед этим? – спросил Половецкий без церемонии.

– Напитки принимаем, это действительно, но только свою плепорцию весьма соблюдаем и никогда в запойных не состояли...

– А ваш отец пил?

– Ну, это другой фасон... Тятенька от запоя и померши. Так это рассердились на кучера, посинел, пена из уст и никакого дыхания. Это, действительно, было-с. Тятенька пили тоже временами, а не то, чтобы постоянно, как пьют дякона или вон повар Егорка. А я-то испорчен... Была одна жен-

щина... Сам, конечно, виноват... да... Холостым был тогда, ну баловство... Она-то потом вот как убивалась и руки на себя непременно хотела наложить. Ну, а добрые люди и научили...

Наступал тихий осенний вечер с своей грустной красотой. Озеро чуть шумело мелкой осенней волной. Половецкий задумался, как это бывает в такие вечера, когда на душе и грустно, и хорошо без всякой побудительной причины. Его из задумчивости вывел Теплоухов.

– Смотрите, смотрите, как святой отец удирает... – шепнул он, показывая головой на кусты ивняка, обходившие зеленой каймой невидимое моховое болотце.

Действительно, на опушке стоял, покачиваясь, повар Егорушка, а между кустами мелькала сгорбленная фигура брата Ираклия.

– Эй, отец, куда ты торопшься? – окликнул его Теплоухов. – Иди к нам, поговорим... Соскучился я о тебе, братчик.

Брат Ираклий нерешительно остановился, но, увидев Половецкого, вышел из кустов. Очевидно, ему не хотелось показать себя трусом.

– Что же, я и подойду... – говорил он, дергая своей жилистой шеей. – Даже очень просто...

– Ну, садись рядком да поговорим ладком, – приглашал Теплоухов. – Про тебя все Палагея Семеновна спрашивает... Соскучилась, говорит. Заходи ужо к нам чайку испить...

Присевший было на бревно брат Ираклий вскочил, как ужаленный. Он как-то жалко улыбался и смотрел на Теплоухова испуганными глазами.

– Да, пришел бы, братчик, – продолжал Теплоухов. – Палагея Семеновна малиновым вареньем угостит... А ты рассказал бы ей какой-нибудь сон.

Брат Ираклий весь побелел, плюнул и бегом бросился к монастырской ограде.

– Ей, отец, воротись! – кричал Теплоухов, надрываясь от смеха. – Ха-ха... Не любит.

– Вы его чем-то обидели? – заметил Половецкий.

– Нет, так... к слову... Ведь он девственник и боится женщин. А Палагея Семеновна очень его любит. Она у меня особенная... Весьма все божественное уважает. Училась-то по псалтыри да по часовнику...

– А сны при чем?

– Ах, это совсем другое... Больной он, Ираклий, и человек строгой жизни. Я его тоже очень люблю... Днем-то у него все хорошо идет по части спасения души, а по ночам разные неподобные сны одолевают. И то, и другое приснится, и на счет женского полу случается... Ну, ему это и обидно, что благодать от него отступает.

– Такого человека можно пожалеть, а не смеяться над ним...

– Совершенно верно изволите выразаться. Но строптивец он, доносы разные пишет на всю братию... Ну, пусть и сам

потерпит. В ихнем звании это даже полагается... Терпи – и конец тому делу. Которая дурь-то и соскочит сама собой...

Половецкий потом видел мельком Палагею Семеновну. Это была красивая, рослая молодая женщина, – не красавица, но с одним из тех удивительных женских русских лиц, к которым так идет эпитет «яснолика». У неё всякое движение было хорошо, а особенно взгляд больших, серых, глубоких глаз. И говорила она особенно – ровно и певуче, с какими-то особенно-нежными воркующими переливами в голосе.

XII

По случаю «престола» в обители публика толклась дня три. Половецкий с европейской точки зрения мог только удивляться, сколько у этой публики свободного, ненужного времени. Между прочим, и Теплоуховы не представляли исключения.

– Эх, пора домой! – повторял Теплоухов, когда встречал Половецкого. – И зачем только мы проедаемся в этом вороньем гнезде?.. Терпеть не могу монахов, все они дармоеды.

– Ну, это вы говорите лишнее и даже не думаете того, что говорите.

– А у меня разные мысли: дома – одни, в дороге – другие, в обители – третьи...

Когда Теплоуховы уехали, и их комната в странноприим-

нице освободилась, Половецкий опять хотел ее занять. Он отыскал свою котомку, спрятанную под лавкой, за сундучком брата Павлина. Котомка показалась ему подозрительно тяжелой. Он быстро ее распаковал и обомлел: куклы не было, а вместо неё положено было полено. Свидетелем этой немой сцены опять был брат Павлин, помогавший Половецкому переезжать на старую квартиру. Для обоих было ясно, как день, что всю эту каверзу устроил брат Ираклий.

– Михайло Петрович, Бог с вами... – бормотал брат Павлин, перепутанный случившимся.

А Половецкий стоял бледный, с искаженным от бешенства лицом и смотрел на него дикими, ничего невидевшими глазами. В этот момент дверь осторожно приотворилась, и показалась голова брата Ираклия. Половецкий, как дикий зверь, одним прыжком бросился к нему, схватил его за тонкую шею, втащил в комнату и, задыхаясь, заговорил:

– Где кукла, несчастный?!.. Где кукла?!..

– Я... я... ные зна...аю... – бормотал брат Ираклий, бесильно барахтаясь в железных руках обезумевшего Половецкого. – Я... я...

– Где кукла?!..

– Ираклий, отдай... – дросил брат Павлин. – Для чего она тебе?..

– Н-не-ет у м-меня ничего... Отпустите меня...

– Где кукла?! – рычал Половецкий, не помня себя от ярости.

Брату Ираклию досталось-бы совсем плохо, если бы не вступился за него брат Павлин.

– Михайло Петрович, опомнитесь... Михайло Петрович, Бог с вами...

Половецкий бросил брата Ираклия на лавку, как котенка, и загородил собою дверь.

– Ты отсюда живой все равно не выйдешь... – глухо говорил он. – Да, не уйдешь...

Брат Павлин встал между ними и уговаривал брата Ираклия добром отдать куклу. Тот тяжело дышал и смотрел на Половецкого злыми глазами.

– Нет у меня никакой куклы... – повторил он.

– А куда ее дел? – допытывал брат Павлин. – Вот до чего довел Михайлу Петровича, строптивец... Ну, покайся добром, Ираклий...

На Ираклия напало непобедимое упрямство, и он даже улыбнулся кривой улыбкой, что опять взорвало Половецкого.

– Га-а-а!.. – зарычал он, бросаясь опять к нему. – Тебе смешно, негодяю? Га-а-а...

Брату Павлину стоило большего труда предупредить новую схватку. Половецкий весь трясся от охватившего его бешенства, а брат Ираклий забился в передний угол и устроил баррикаду из стола.

– Ираклий, голубчик, покайся... – умолял его брат Павлин. – Ведь ты это так сделал, не от ума... Злой дух напал

на тебя...

Почувствовав себя до некоторой степени в безопасности, брат Ираклий проговорил:

– Что вы привязались ко мне с куклой? Может, она сама ушла из обители...

Половецкий по какому-то наитию сразу понял все. В его голове молнией пронеслись сцены таинственных переговоров брата Ираклия с Егорушкой. Для него не оставалось ни малейшего сомнения, что куклу унес из обители именно повар Егорушка. Он даже не думал, с какой это целью могло быт сделано, и почему унес выкраденную Ираклием куклу Егорушка.

– Брат Павлин, идемте... – решительно заявил он. – Мне вас нужно...

Брат Павлин повиновался беспрекословно. Когда они вышли из комнаты, Половецкий спросил, не видал-ли он, когда ушел из обители повар Егорушка.

– А недавно... С час время не будет, Михайло Петрович.

– Это он унес куклу... Ради Бога, пойдемте со мной, Мы его еще успеем догнать...

Прошло минут десять, пока брат Павлин бегал отпрашиваться к игумену. Половецкий ждал его за воротами.

– Ради Бога, скорее, – умолял он. – Мы его догоним...

Они быстро зашагали по монастырской дороге. Впереди никого не было видно. Половецкий молчал. Брат Павлин едва поспевал за ним.

– Ах, какой случай... – повторял он. – Какой это вредный человек брат Ираклий...

Так они прошли до самой повертки, где монастырский: вроселок выходил на трактовую дорогу. Половецкий еще издали заметил курившийся под елью огонек и решил про себя, что это сделал привал повар Егорушка. Действительно, это был он.

– Да ведь это Егорка!.. – изумился брат Павлин. – Недалеко ушел...

Повар Егорушка лежал, уткнувшись лицом в траву, и спал мертвым сном. Рядом с ним в качестве *corpus delicti* валялась пустая сороковка. Дорожная котомка заменяла сначала подушку, а теперь валялась в стброне. Половецкий бросился к ней и первое, что увидел – две выставлявшихся из котомки кукольных ноги.

– Я говорил... да... – радостно шептал Половецкий, торопливо развязывая котомку.

Проснувшийся Егорушка принял брата Павлина и Половецкого за разбойников и даже крикнул: караул! Но брат Павлин зажал ему рот рукой.

– Это моя кукла, зачем ты ее стащил? – строго заговорил Половецкий. – Как ты смел...

– Никак нет-с, вашескоролие... Это мне Ираклий подсунул, чтобы я с бумагой владыке передал. Моей причины тут никакой нет... А чья кукла – спросите Ираклия.

Половецкий торопливо завязал куклу в платок, сунул ка-

кую-то мелочь Егорушке и молча зашагал обратно к обители. Брат Павлин едва его догнал уже версты за две.

– Михайло Негрович, знаете, какую штуку устроил наш Ираклий? – говорил он, едва переводя дух. – Он написал на вас новый донос, а к доносу приложил вашу куклу, чтобы Егорушка передал владыке уже все вместе. Вот ведь какую штуку удумает вредный человек...

Половецкий ничего не отвечал. Он все еще не мог успокоиться от пережитого волнения.

Вечером, оставшись один в своей комнате, Половецкий развернул узелок, посадил, как делал обыкновенно, куклу на стол и побелел от ужаса. Ему показалось, что это была не та кукла, не его кукла... Она походила на старую, но чего-то не хватало. Ведь не мог же Ираклий ее подделать...

– Нет, не та... – шептал Половецкий побелевшими от волнения губами.

ХШ

Вернувшись в обитель с своей куклой, Половецкий целых три дня не показывался из своей комнаты. Брат Павлин приходил по нескольку раз в день, но дверь была заперта, и из-за неё слышались только тяжелые шаги добровольного узника.

«А все строптивец Ираклий виноват, – со вздохом думал брат Павлин. – Следовало бы его на поклоны поставить, чтобы чувствовал»...

По вечерам можно было слышать, как Половецкий разговаривал сам с собой, и это особенно пугало брата Павлина, как явный признак того, что с Михал Петровичем творится что-то неладное и даже очень вредное. Так не долго и ума решиться...

В первый раз Половецкий вышел из затвора ко всеобщей. Брат Ираклий увидел его издали и со свойственным ему малодушием спрятался.

– Что, не бойсь, совестно глазам то? – укорил его брат Павлин. – Знает кошка, чье мясо съела...

– А твоей скорбной главе какое дело? – огрызнулся брат Ираклий. – Вместе идолопоклонству предаетесь... Все знаю и все отлично понимаю. Я еще ему одну штучку устрою, чтобы помнил брата Ираклия...

– Перестань ты, строптивец!..

– А вот увидишь...

– И откуда в тебе столько злости, Ираклий? Бес тебя мучит... Живет человек в обители тихо, благородно, никому не мешает, а ты лезешь, как осенняя муха.

– Может, я ему же добра желаю?

Прошло еще дня два. Раз вечером, когда брат Павлин чинил у себя в избушке сети, Половецкий пришел к нему. Он заметно похудел, глаза светились лихорадочно.

– Не здоровится вам, Михал Петрович?

– Нет, так... вообще...

Он сидел на лавку и долго наблюдал за работой брата Пав-

лина. Потом поднялся и, молча простившись, ушел. Брату Павлину казалось, что он хотел что-то ему сказать и не мог разговориться.

Через полчаса Половецкий вернулся.

– Брат Павлин, вы скоро кончите свою работу?

– Да хоть сейчас, Михайло Петрович... Работа не медведь, в лес не уйдет.

– Так пойдемте ко мне... посидим... Мне скучно... Да...

Он посмотрел кругом и спросил тихо;

– Брат Павлин, вам бывает страшно? Вот когда обступит темнота, когда кругом делается мертвая тишина...

– Чего же бояться, Михайло Петрович?

– А так... Сначала тоска, а потом страх... этакое особенное жуткое чувство... У вас здесь хорошо. Простая рабочая обстановка...

– Да вы присядьте, Михайло Петрович.

Половецкий сел в уголок к столу и вытянул ноги.

По его лицу, как тень, пробежала конвульсия.

– Надо сети выправить, – говорил брат Павлин. – А озеро встанет – будем тони тянуть... Апостольское ремесло рыбку ловить.

– А ведь рыба чувствует, когда ее убивают?

– У ней кровь холодная, Михайло Петрович. Потом она кричать не умеет... Заказано ей это.

Через час Половецкий и брат Павлин сидели за кипевшим самоваром. На окне в комнате Половецкого начали по-

являться цветы – астры, бархатцы, флоксы. Он думал, что их приносил брат Павлин, и поблагодарил его за эту любезность.

– Нет, это не я-с, Михайло Петрович, – сконфуженно признался брат Павлин.

– Значит, Ираклий?

– Больше некому... Он у вас руководствует по цветочной части.

Половецкий зашагал по комнате. У него на лице выступили от волнения красные пятна.

– У него всю зиму цветы цветут, ну, вот он и вам приспособил... Уж такой человек.

– Да, человек...

После чая Половецкий достал из своей котомки куклу, с особенным вниманием поправил на ней костюм, привел в порядок льняные волосы и посадил на кровать.

– Нравится она вам? – спросил он, улыбаясь. – Она умеет закрывать глазки и говорит «папа» и «мама».

– Красивая кукляшка, – согласился брат Павлин. – Тоже и придумают... т. е. на счет разговору.

– Самая простая машинка...

Он дернул за ниточку и кукла тоненьким голоском сказала «папа». Брат Павлин смотрел на нее и добродушно улыбался. Половецкий с особенным вниманием наблюдал за каждым его движением.

– Вы ничего не замечаете... особенного? – тихо спросил

он.

– Нет, ничего, Михайло Петрович... Так, кукла, как ей полагается быть.

Этот ответ заставил Половецкого поморщиться, и он по-дозрительно посмотрел на брата Павлина, из вежливости считавшего нужным улыбаться.

– А вы помните этот случай, – с трудом заговорил Половецкий, усаживая куклу на кровать. – Да, случай... Одним словом, когда Ираклий в первый раз вытащил куклу из моей котомки?.. Она валялась вот здесь на полу...

– Как же, помилуйте, даже очень хорошо помню...

– Отлично... Вы стояли вот здесь у дверей, она лежала вот здесь, и вы не могли её не видеть... да...

Для ясности Половецкий показал оба места.

– Вот-вот, – согласился брат Павлин, не понимая, в чем дело, и еще больше не понимая, почему так волнуется Михайло Петрович из-за таких сущих пустяков.

– Она лежала с закрытыми глазами, – продолжал Половецкий. – Левая рука была откинута... да...

– Вот-вот... Как сейчас вижу, Михайло Петрович. А вы вот об это место стояли...

Половецкий взял опять на руки куклу, показал ее брату Павлину и спросил:

– Вы уверены, что это та самая кукла?

– Та самая...

Этот ответ не удовлетворил Половецкого. Он поставил

брата Павлина на то место у двери, где он стоял тогда, положил куклу на пол, придав ей тогдашнюю позу, и повторил вопрос.

– Она самая, – уверял брат Павлин.

– Зачем вы меня обманываете?!.

– Помилуйте...

– Нет, нет!.. Вы заодно с Ираклием... О, все я отлично понимаю!.. Это не моя кукла...

– Что вы, Михайло Петрович, да как это возможно... Конечно, повар Егорушка поступил неправильно, что послушался тогда Ираклия и поволок вашу куклу... А только другой куклы негде в обители добыть, как хотите.

– А в Бобыльске разве нельзя добыть?.. Перестаньте, пожалуйста, я не вчера родился... Вы все против меня.

– Помилуйте...

– И не говорите лучше ничего... Вы не знаете, как я измучился за эти дни... Мне даже больно видеть вас сейчас...

– Я уйдус, Михайло Петрович... Простите, что если что и неладно сказал. А только кукла та самая...

Уверенный тон брата Павлина, а главное – его искренняя простота подействовали на Половецкого успокаивающим образом.

– Да, да, хорошо, – говорил он, шагая по комнате, – да, очень хорошо...

Да, конечно, брат Павлин с его голубиной кротостью не мог обманывать... Есть особенные люди, чистые, как ключе-

вая вода. Половецкий даже раскаялся в собственном неверии, когда брат Павлин ушел. Разве такие люди обманывают? И как он мог подозревать этого чистого человека...

Наступала ночь. Половецкий долго шагал по своей комнате. Кукла продолжала оставаться на своем месте, и у Половецкого явилась уверенность, что она настоящая, та самая, которую он любил и которая его любила – именно, важно было последнее. Да, она его любила, как это ни казалось бы диким и нелепым со стороны, для чужого человека... Вместе с этим Половецкий испытывал жуткое чувство, а именно, что он не один, не смотря на завешанное окно и запертую дверь. Это его и возмущало, и пугало. Он прислушивался к малейшему шороху и слышал только, как билось его собственное сердце. Ускоренно, повышенным темпом, с нервной задержкой отработавшего аппарата. «Это бродит Ираклий» – решил Половецкий.

Но он ошибался. Брат Ираклий заперся у себя в кельи и со всеусердием писал какой-то новый донос на обительскую жизнь.

За последнее время у Половецкого все чаще и чаще повторялись тяжелые бессонные ночи, и его опять начинала одолевать смертная тоска, от которой он хотел укрыться под обительским кровом. Он еще с вечера знал, что не будет спать. Являлась преждевременная сонливость, неопределенная тяжесть в затылке, конвульсивная зевота. Летом его спасал усиленный физический труд на свежем воздухе, а сейчас

наступил период осенних дождей и приходилось сидеть дома. Зимняя рубка дров и рыбная ловля неводом были еще далеко.

XIV

Дня через три Половецкий слег. Он ни на что не жаловался, а только чувствовал какое-то томящее бессилие.

– Вы, может, простудились, Михайло Петрович? – пробовал догадаться брат Павлин. – Хорошо на ночь малинки напиться или липового цвету... Очень хорошо помогает, потому как сейчас происходит воспарение.

– Нет, спасибо, ничего мне не нужно... Так, само пройдет помаленьку.

Половецкий смотрел на брата Павлина совсем большими глазами и напрасно старался улыбнуться.

– Вот пищи вы не желаете принимать – это главное, – соображал брат Павлин вслух. – Это вот даже который ежели потеряет жар – очень нехорошо...

– Совершенно верно...

– А ежели принатужиться, Михайло Петрович, и поесть? Можно шинкованной капустки с лучком, соленьких грибов, бруснички... рыбки соленькой...

Брат Павлин самым трогательным образом ухаживал за больным и напрасно перебирал все известные ему средства. Половецкий терпеливо его слушал, отказывался и кончал

очень странной просьбой:

– Брат Павлин, мне необходимо переговорить с Иракли-ем... Позовите его ко мне.

Эта просьба удивила брата Павлина до того, что он стоял, раскрыв рот, и ничего не мог сказать.

– Вы можете его предупредить, что я решительно ничего не имею против него, – объяснял Половецкий. – Да, он может быть совершенно спокоен... Скажу больше: я с ним просто желаю поговорить по душе. Пусть приходит вечером, и мы побеседуем.

Это неожиданное приглашение не в шутку перепугало трусливого брата Ираклия.

– Он меня убьет! – уверял он, дергая шеей. – Благодарю покорно... Стара шутка. Недавно еще читал в газетах, как вот этак же один господин заманил к себе другого господина и лишил его жизни через удушение. Да вот точно такой же случай...

– Опомнись, Ираклий, как тебе не стыдно!..

– И даже весьма просто... Шея у меня тонкая, а он вон какой здоровенный. Как схватит прямо за шею... Нет, брат, стара шутка! Это он мне хочет за свою чортову куклу отомстить... А я ему покажу еще не такую куклу. Х-ха...

– Перестань молоть вздор...

– Я?!. А вот увидишь...

Брат Ираклий постукал себя по лбу пальцем и, подмигнув, с кривой улыбкой прибавил:

– О, на этом чердаке целый ювелирный магазин... Надо это очень тонко понимать.

– А вот ты и покажи свой-то магазин Михаилу Петровичу... да. А трусость свою оставь.

– Я, по твоему, трус? Ах, ты, капустный червь... Да я... я никого на свете не боюсь! Слышал? Ираклий Катанов никого не боится и даже мог бы быть великим полководцем... О, вы меня совсем не понимаете, потому что я пропадаю в вашей обители, как подкопленная мышь.

В доказательство своего величия брат Ираклий схватил со стола бюст Наполеона, выпрямился и, отступив несколько шагов, проговорил:

– Ну, смотри: ведь два родных брата...

– А к Михаилу Петровичу все-таки трусишь идти?

– А вот и пойду, на зло тебе пойду... Михайло Петрович, Михайло Петрович... Не велико кушанье.

– И все-таки не сходишь: душа у тебя, Ираклий, короткая.

Брат Ираклий презрительно фыркнул и даже покраснел. Поставив бюст Наполеона на письменный стол, он проговорил уже другим тоном:

– Вот что, Павлин... да... Я пойду... да... а ты постоишь в коридоре... В случае, ежели он бросится меня душить, ты бросишься в дверь...

– Непременно...

– Ну, и отлично... Я закричу тебе, а ты стрелой и бросайся...

Как все очень нервные люди, брат Ираклий поступил совершенно неожиданно, неожиданно даже для самого себя. Он пришел к Половецкому поздно вечером, на огонек.

– Вы меня желали видеть? – с затаенной дерзостью спросил он, останавливаясь у двери.

– Ах, да... Садитесь, пожалуйста, к столу. Встать я не могу, в чем и извиняюсь...

– Так-с... гм...

Брат Ираклий подозрительно посмотрел на любезного хозяина, а потом на глаз смерял расстояние от стола до двери, мысленно высчитывая, может-ли он убежать, если притворяющийся больным гостеприимный хозяин вскочит с постели и бросится его душить. Но Половецкий продолжал лежать на своей кровати, не проявляя никаких кровожадных намерений.

– Может быть, вы хотите чего, брат Ираклий?

– Нет, благодарю вас...

– Ведь вы любите варенье, и я угощу вас поленикой. Мне недавно привезли из города.

– Я уважаю сладкое, но во благовремени...

Небольшая дешевенькая лампочка освещала только часть лица Половецкого, и он казался брату Ираклию каким-то циклопом.

– Да, так я желал вас видеть, – заговорил Половецкий, облокачиваясь на подушке. – Предупреждаю, что я совсем не сержусь на вас, и вы спокойно можете забыть о последнем

эпизоде с куклой... да.

Брат Ираклий сделал нетерпеливое движение и тревожно посмотрел на дверь.

– Меня удивляет только одно, что моя кукла так вас интересуется, – продолжал Половецкий. – И мне хотелось бы кое-что вам объяснить...

– Я приковываю мое ухо на гвоздь внимания, как выразился один философ...

Половецкий сделал паузу, подбирая выскальзывавшие из головы слова.

– История моей куклы очень недлинная, – заговорил он, сдерживая невольный вздох. – Я даже не могу припомнить, как она попала ко мне в дом, как множество других совершенно ненужных вещей... Кстати, у меня есть в Петербурге собственный дом особняк, т. е. два этажа, набитые совершенно ненужными вещами, т. е. вещами, без которых совершенно легко обойтись и без которых, как вы видите, я обхожусь сейчас совершенно свободно. Есть дурные привычки богатых людей, которых они не замечают... У меня было, например, двенадцать или пятнадцать шуб... Ведь я не мог же ходить зараз в двух?.. В Москве у меня тоже был дом, – продолжал Половецкий, переменяя положение. – Т. е. не мой дом, а дом моей жены. И мне было приятно думать, что у меня два дома...

– И кроме того имения?

– И имения в трех губерниях. Тоже было приятно думать,

что где хочу – там и живу. Даже думал о старости, которую мечтал кончить добрым, старым помещиком в какой-нибудь почетной общественной должности...

– Мысль весьма невинная, г. Половецкий. Я ведь давно знаю вашу фамилию, извините...

– Да, так было все, брат Ираклий... Прибавьте к этому молодость, круг веселых товарищей по полку, бесконечные удовольствия... Жизнь катилась совершенно незаметно, как у всех богатых людей. Моя жена очень красивая женщина, как она мне казалась до женитьбы и как уверяли потом другие мужчины, но дома красивой женщины нет, потому что и красота приедается. Но мы сохранили дружеские чувства... Это много значит.

Брат Ираклий превратился весь во внимание. Он в первый раз видел пред собой на таком близком расстоянии настоящего богатого человека. Все богачи представлялись в его воображении какими-то полумифическими существами.

– Я сказал, что мы с женой жили друзьями, – продолжал Половецкий. – На нашем языке это значит, что мы жили каждый своей отдельной жизнью. У меня был свой круг знакомства, у неё – свой... Мы с ней встречались, главным образом, за столом, а потом разыгрывали перед добрыми знакомыми комедию счастливой парочки. Нам завидовали, нас ставили в пример другим, и никто не знал, как мы живем в действительности. Одним словом, все шло хорошо, как понимается это слово в нашем кругу. И вдруг у нас является ребенок...

девочка... При её появлении я получил анонимное письмо, что настоящий отец не я.

Последовала длинная пауза. Брат Ираклий задергал шейю, точно это анонимное письмо писал он. Половецкий лежал, запрокинув голову на подушку и закрыв глаза.

– Да, это было тяжело... – глухо заговорил он. – Это в сущности была первая серьезная неприятность в моей жизни. И я выдержал характер – в нашем кругу это считается величайшим достоинством – т. е. я ничего не сказал жене и не подал ни малейшего повода к сомнению. Раньше мы были счастливой парочкой, а тут начали разыгрывать второй акт комедии – счастливых родителей...

– Михайло Петрович, почему вы мне все это рассказываете? – неожиданно спросил брат Ираклий. – Я ведь для вас совершенно посторонний человек, и мне даже как-то неловко слушать...

Половецкий улыбнулся больной улыбкой и перекатил голову на подушке.

– Почему? – повторил он вопрос брата Ираклия. – Я и сам хорошенько не знаю, но мне хочется выговориться... Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вы один меня поймете – я веду свой рассказ к кукле. Введение немного странное и нелепое, но необходимое... Я, наконец, хочу, чтобы вы поняли мое сумасшествие. Ведь в ваших глазах я сумасшедший, маньяк...

– Не все-ли вам равно, что я думаю?

– Но вы существуете для меня не лично, как такой-то имярек, а так сказать собирательно... Можете, впрочем, не слушать, если вам скучно.

– Нет, отчего-же...

XV

Брат Ираклий сидел у стола, облокотившись на стуле, как обезьяна. Его страшно интересовала дальнейшая исповедь Половецкого, и он терпеливо ждал её продолжения.

– Да, у меня была девочка... звали ее Сусанной... – глухо заговорил Половецкий, подбирая слова. – Неправда-ли, какое красивое имя? Она росла как-то в стороне от нашей жизни, на попечении сначала бонны-швейцарки, а потом гувернантки-англичанки. Мать и отца она видела только утром, когда приводили ее здороваться, и вечером, когда она прощалась. Весь её детский день проходил среди чужих, наемных людей... Что она думала, что она делала – отец и мать не интересовались. Ребенок рос хорошенький, здоровенький – и этого было достаточно. Но в одно прекоасное утро англичанка с большими предосторожностями объяснила мне, что замечает в девочке кое-какие ненормальности: бесцельное упрямство, вспышки беспричинного гнева, несвойственную её возрасту апатию... Мы, конечно, не обратили на это никакого внимания. Мало ли бывает детей упрямых, вспыльчивых и, вообще, несносных? Время шло, а вместе с ним раз-

ростались ненормальности, так что пришлось обратиться к специалисту-врачу, который дал нам понять, что положение девочки безнадежно...

Половецкий сел на кровати, спустив босые ноги... Он сильно похудел за последние дни и показался брату Ираклию даже страшным. Лицо осунулось, глаза округлились и казались больше.

– Это был удар грома, – продолжал он, растирая колени рукой. – Т. е. удар для меня. Я смутно почувствовал какую-то вину за собой... Не помню, в который раз, но мне казалось, что я попал в детскую в первый раз и в первый раз увидел, что моя девочка сидит вот с этой самой куклой на руках, улыбается и что то наговаривает ей бессвязное и любовное, как живому человеку. Меня это почему-то кольнуло... Какая то бессмысленная кукла и бессмысленный детский лепет. Но больная не расставалась с своей куклой ни днем, ни ночью... Ее и за границу повезли лечиться с этой же куклой. Европейские корифеи науки только подтвердили диагноз нашего домашнего врача... Положение получалось самое безнадежное. Да... Жена воспользовалась им, чтобы изображать из себя жертву. Я ее возненавидел именно за эту последнюю ложь, хотя она и лгала целую жизнь... Ничего нет ужаснее лжи, которая, как ржавчина, разъедает и губит живую душу. Говорят о святости материнства, но я, к сожалению, видел другое, и мою душу постепенно захватывал ужас... Мне случалось участвовать в сражениях, пережи-

вать очень опасные моменты, но удивительно то, что настоящий страх появлялся уже в то время, когда опасность миновала. Я хочу сказать, что жизнь, вообще, страшная вещь, но мы это не желаем замечать, а сознание является только задним числом... Мы идем, как лунатики, по карнизу и не замечаем окружающей со всех сторон опасности... Вы согласны со мной?...

– Право, не знаю... Мне кажется, что ничего ужасного нет.

– Нет, есть... Вы только подумайте, что каждый мог бы прожить свою жизнь на тысячу ладов иначе, чем живет. Нас опутывают те мелочи, которые затемняют наш день и даже преследуют во сне.

Брат Ираклий вскочил, но, взглянув на Половецкого, опять сел. Он страдал галлюцинациями не аскетического характера, над чем смеялся Теплоухов. Половецкий не заметил его движения и продолжал, глядя на пол.

– И этот ужас разрастался... Я бросил свою службу, прекратил ненужные знакомства и заперся у себя в квартире. Я был убежден, что одной силой любви могу снасти свою девочку, наперекор всем медицинским диагнозам. Ведь одна любовь творит чудеса... Мне стоило громадного труда принизиться до чарующей простоты детского мирозерцания, и я ползком добирался до архитектуры детских мыслей. Я сказал: принизиться – это не верно. Вернее сказать: возвыситься, потому что всякая простота – это снеговая вершина в каждой области. Но я опоздал... Огонь уже потухал...

Отдельные всполохи детского сознания говорили о каком-то другом мире, неведомом, необъятном и безгранично-властном... Маленькая душа шла навстречу этому миру, роняя только последние искры сознания для того маленького мирка, который оставляла. И я, такой большой и сильный, носил этот погасавший свет в маленьком существе... Полное бессилие сильного... И тут у меня вспыхнула страстная, безумная любовь к моему ребенку... До сих пор я не знал даже приблизительно, что такое любовь, потому что не понимал, что любовь есть правда жизни. То, что принято называть этим словом – одна мистификация... И тогда я полюбил вот эту куклу, которую держали холодевшие маленькие ручки, отдавая ей свою последнюю теплоту.

Сделав паузу, Половецкий с удивлением посмотрел кругом, на сгорбленную фигуру брата Ираклия, на расплывавшееся пятно света вокруг лампы, на давно небеленые стены, на свои босые ноги... Ему казалось, что он где-то далеко-далеко от обительской странноприимницы, и что вместо брата Ираклия сидит он сам и слушает чью-то скорбную, непонятную для него исповедь.

– Ваша дочка, как вы выражались раньше, изволила умереть? – почтительно решился прервать молчание брат Ираклий, исполнившийся уважением к Половецкому.

– Ах, да... – отозвался Половецкий, точно просыпаясь от охватившего его раздумья. – Да, изволила... И все этого желали. Я переживал молчаливое отчаяние, больше – я сходил

с ума... На меня напал панический ужас, и я нигде не мог найти себе места. У меня не было даже слез, и я прятался от всех, чтобы не видели моего горя... Эта дорогая смерть точно открыла мне глаза на всю мою безобразную жизнь... Есть чудная русская поговорка: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. Какое прекрасное слово: покойник... Мой маленький покойник стоял у моего сердца... Маленькие ручки точно указывали мне на все безобразие моей жизни. Ужас все сильнее охватывал меня, щемящая пустота, давящая темнота... Я плакал, я кричал – и ответа не было... Это ощущение заблудившегося в лесу человека, потерявшего все силы и последнюю надежду когда-нибудь выбраться из этого леса... У меня явилось непреодолимое желание покончить с собой, чтобы разом прекратить невыносимые муки. У меня было обдуманно и приготовлено все до мельчайших подробностей, включительно до стереотипной записки: «В смерти моей прошу никого не обвивать», и т. д.

– Да, да, я мысленно простился со всем и всеми, – продолжал Половецкий. – В сущности, это был хороший момент... Жил человек и не захотел жить. У меня оставалось доброе чувство ко всем, которые оставались жить, даже к жене, которую ненавидел. Все было готово... Я уже хотел уйти из дома, когда вспомнил о детской, освященной воспоминаниями пережитых страданий. Я вошел туда... Комната оставалась даже неубранной, и в углу валялась вот эта кукла...

Половецкий достал спрятанную под подушкой куклу и по-

казал ее брату Ираклию.

– Вот эта самая... да... Она смотрела на меня живыми глазами и сказала... Вы не смейтесь – она, действительно, сказала... «Безумец, я тебя люблю». Понимаете?.. Да, она сказала, я это слышал... Никто не разуверит меня в этом. «Безумец, я тебя люблю»... Мне трудно сейчас припомнить по порядку, что потом было, но у меня явилось такое чувство, точно от меня отвалилась каменная гора. И она действительно меня любила, потому что спасла от самоубийства... Остался всего один момент – и меня бы не было. Это со стороны и нелепо, и смешно, и даже глупо, но это было... Она меня любила, и я это чувствовал. Вы этому не верите? Вы слушаете меня, как человека, который бредит во сне?

– Нет, проще: я не понимаю, в чем дело.

– А, не понимаете... Ведь вы учили в вашей семинарии философию? Да? Вероятно, знаете, что был такой немецкий философ Фихте?

– Очень просто... О нем у нас в записках была отдельная глава, которая начиналась так: «Фихте, замкнувшись в свое „я“, разорвал всякую связь с действительностью»...

– Вот, вот... этот философ праздновал день, когда его дочь в первый раз сказала «я».

– Позвольте, при чем же тут кукла?

– А вы подождите... Когда человек рождается, он не отделяет себя от остального мира. Он – весь мир... А вся остальная жизнь заключается только в том, что человек постепенно

отделяет себя от мира. Смерть – это заключительное звено этого рокового процесса. Рельефнее всего первый зародыш этого процесса проявляется у ребенка в его кукле, в которой он смутно начинает чувствовать своего двойника... Это величайший момент в жизни каждого, хотя мы и не даем себе в этом отчета. Ведь все дети любят кукол. Из этих детей потом вырастают и герои, и обыкновенные люди, и преступники...

– Все-таки мы понимаю...

– А почему дикарь лепит себе идола из глины, выстреливает из дерева, выдалбливает из камня, отливают из металла? Ведь это продолжение детской куклы, в которой человек ищет самого себя... Он помещает именно в ней самую лучшую часть самого себя и в ней же ищет ответа на вечные вопросы жизни. Вот и моя кукла помогла мне узнать хоть немного самого себя, оглянуться на свою безобразную жизнь, задуматься над самым главным... Ведь она говорит со мной... Вот почему она мне так и дорога. В ней мой двойник...

Брат Ираклий все ждал вопроса о краже куклы, но Половецкий ни одним словом не заикнулся об этом трагическом обстоятельстве.

– Ну, я устал... – говорил Половецкий, укладываясь снова на кровать. – До свиданья... Извините, что побеспокоил вас, брат Ираклий.

XVI

Осень выдалась суше и холоднее обыкновенного, так что не было даже осеннего водополя, и между обителем и Бобьльском сообщение не прерывалось. Лист на деревьях опал, трава пожелтела, вода в озере сделалась темной. В обители веселья не полагалось вообще, но сейчас воцарилось что-то унылое и безнадежное. Братия отсиживалась по своим кельям. Приезжих было мало. Брат Ираклий чувствовал себя особенно скверно и успел перессориться со всеми, так что даже игумен счел нужным сделать ему серьезное внушение.

– Так нельзя, Ираклий... Понимаешь? Ты скоро, пожалуй, кусаться начнешь. А еще умный и начитанный человек, философию учил...

Брат Ираклий принял увещание с подобающим смирением и заперся у себя в келье. Он обложился книгами и что-то такое писал. По вечерам он уходил к Половецкому, и их беседа затягивалась за полночь. Раз вечером, когда брат Ираклий только-что собрался идти в странноприимницу, как к нему в келью вошел брат Павлин. Он был чем-то взволнован, осторожно оглядевшись кругом, шепотом сообщил:

– Ираклий, тебя желает видеть некоторая госпожа...

– Какая-такая госпожа?

– А такая... Дух от неё такой приятный... идет, как от мо-

щей. Сейчас только приехала из Бобьльска, и прямо спросила тебя. «Мне, грит, необходимо переговорить с братом Ираклием»... Так и сказала. Она ждет в странноприимнице...

Брат Ираклий тоже взволновался. Он наскоро переоделся, намазал редкие волосы деревянным маслом и отправился в странноприимницу. Кто была «некоторая госпожа» – он догадался сразу.

В одном из номеров женской половины странноприимницы нетерпеливо ходила высокая красивая дама вся в черном.

– Вы – брат Ираклий? – довольно строго спросила она и, подавая смятое письмо, прибавила. – Узнаете, кто это писал?

– Точно так-с... Это я писал, но писал по злобе...

– Мне это решительно все равно... Я желаю видеть мужа.

– Михайло Петрович не здоровы и не могут сейчас принять. Впрочем, я могу к ним сходить...

– Будьте любезны...

Когда брат Ираклий уходил, «госпожа» невольно подумала: «Уродится же такой идиот»...

«Вот это так кукла налетела... – думал брат Ираклий по дороге. – И дернуло меня тогда ей письмо написать про Михаила Петровича... Ох, грехи, грехи! А все виноват дурень Егорка... Ну, зачем он ей отдал мое письмо?»

Половецкий выслушал брата Ираклия совершенно спокойно и также спокойно ответил:

– Передайте m-me Половецкой, что я ее видеть не же-

лаю... да. Она напрасно беспокоила себя, разыскивая меня.
Я останусь жить в обители... Мне здесь нравится.